

СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО ТУРГЕНЕВА

ВАЛЕРИЙ ЕСЕНКОВ

Повесть

Глава первая

РОДОСЛОВЬЕ

В парадной зале большого господского дома, широко разместившегося на скрещении улиц Георгиевской и Борисоглебской, домашний оркестр, не зная усталости, играл полонезы, отчетливо и негромко, но так, чтобы ни один звук не распространялся по дому из спальни, где барыня изволила нынче рожать.

Роды были долгие, трудные, как обыкновенно случается у тех женщин, которые слишком долго остаются в девичестве. Когда же младенец наконец покинул ее, Варвара Петровна, обессилев от мук, потеряла сознание.

Она пришла в себя спустя час. Едва она открыла глаза, над ней склонился Сергей Николаевич, сидевший подле нее на белоснежной смятой постели. Она еще смутно, но сразу узнала это лицо, не могла не узнать: это лицо в любых обстоятельствах оставалось красивым, умным, невозмутимым, точно на нем ледяная маска была.

У Варвары Петровны навернулись благодарные слезы, бедное сердце сильно забилося от счастья, которое он ей так редко, так скупно дарил. Собрав силы, она внятно спросила:

— Кого?

Сергей Николаевич выпрямился, отстраняясь от ее жадного, чего-то ждущего взгляда, и спокойно сказал:

— Снова мальчик, мой друг.

Ее прямые, все еще слабые губы улыбнулись с трудом, но довольно. Она ждала именно мальчика, втайне мечтая дать ему светлое имя Сергей, страстно надеясь, что этот второй ее сын непременно будет похож на отца, однако ей казалось все последнее время, что мужу хочется девочку, и она испугалась, вспомнив об этом, в ее расширенных красивых глазах промелькнуло смятение, улыбка медленно таяла, на круглом, перед родами еще располневшем лице появилась виноватая робость. Варвара Петровна негромко спросила:

— Как назовем?

Проведя тонким пальцем по чисто выбритой верхней губе, чтобы скрыть свою привычную надменную насмешливую улыбку, которую она угадала острым чутьем нелюбимой любящей женщины, Сергей Николаевич ответил неторопливо, точно в раздумье:

— Николай у нас уже есть, назовем, если не возражаешь, Иваном.

Варвара Петровна с силой потянула к самому подбородку тяжелый, неподатливый край одеяла, однако сдержала себя, как привыкла сдерживать себя перед ним, только голос дрогнул и потемнел, выдавая обиду:

— Хорошо, пусть будет Иван.

Они помолчали, каждый задумавшись о своем, невысказанном, никогда не высказываемом между ними. Наконец Сергей Николаевич, вновь склоняясь над ней, спросил с равнодушным выражением красивого молодого лица:

— А как вы, мой друг?

Прищурился глазами, чтобы утаить накипавшую злость, Варвара Петровна острым ненавидящим взглядом оглядела его. Как всегда в это время, Сергей Николаевич был затянут в мундир, высокий малиновый ворот поднимался до самых ушей. Черный галстук элегантно и строго обвивал лебединую шею. Эполеты не скрывали девической хрупкости плеч. Подвитые русые волосы падали на лоб, почти скрывая его прихотливой волной. Точеным носом, несколько удлинненным овалом лица, гладкой кожей, шелковистой даже на вид, всей своей изящной тонкой натурой он походил скорее на юную женщину, чем на офицера армейских драгун. Только в спокойных темных глазах, лукаво спрятанных в длинных ресницах, чтобы невозможно было понять, смотрит ли он на нее или на узоры обоев, сквозила мужская смелая сила, которая его власти покоряла всех без различия, мужчин или женщин, стоило ему захотеть и поглядеть на них со значением.

Еще в первый раз, когда он заглянул к ней в имение торговать для кавалергардов коней, в другом, еще более элегантном, гвардейском мундире, ее поразила в самое сердце его непоколебимая вера в себя, которая так внезапно, так невозможно соединялась с этой очаровательной слабостью тела и хрупкой женственной красотой. С того первого раза он вызывал в ней острое желание пленять его и лелеять, играть с ним, как с куклой, которыми в

детстве не довелось поиграть, черепаховым гребнем расчесывать, как ребенку, шелковистые мягкие волосы, ставить в угол, когда провинится, а он непонятно и странно не давался ей, привыкшей властвовать, повелевать, не подпускал ее близко к себе, точно отгородился стеной, точно знал, что она сломает его.

Варваре Петровне хотелось сказать, что она не чувствует ног, что вдруг опавший живот то грызет, то пронзает тупой разъедающей болью, что ей нужно видеть его, всегда иметь рядом с собой, иначе не стоит в таких муках вынашивать его нелюбимых детей, в обидах и муках нет смысла жить, лишь бы он остался, не уходил, не покидал ее никогда.

Углов его рта коснулась усмешка, от которой ей становилось больно и холодно, Сергей Николаевич понял ее, как всегда понимал, и снисходительно ждал, что на этот раз она скажет ему, только взгляд из-под длинных ресниц сделался отстраняюще-твердым.

Варвара Петровна ощущала всегда, как бессильна она под этим твердым отстраняющим взглядом. Она поняла, что если сейчас попросит его, он посидит с ней час, даже, может быть, два, однако потом все равно найдется учтивый предлог, он с ласковым равнодушием принесет ей свои извинения, тронет мертвыми губами вздрогнувшую щеку, уронит скупой комплимент, оскорбительный для нее, и уйдет... на службу, к любовнице, в карты играть, всегда независимый и чужой.

Она сглотнула и промолчала. Сергей Николаевич с довольным видом кивнул, коснулся сухими губами ее влажного лба, попросил поскорей выздоравливать, точно ее здоровье волновало его, поднялся и вышел своей легкой самоуверенной неторопливой походкой. Только что дверь затворилась за ним, музыка смолкла, и она догадалась, что он остановил измученных музыкантов слабым движением своей непререкаемо-властной руки.

Варвара Петровна вздохнула тяжело и со всхлипом, полежала несколько минут неподвижно, прикрыв глаза припухлыми темными веками, затем решительно приподнялась на смятых подушках, с ночного столика достала памятную книжку в плотном кожаном переплете с золотым узорчатым крепким замком, раскрыла ее и записала твердой рукой:

«1818 г. 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своем доме, в 12 часов утра».

Недаром она была Лутовинова, из того довольно бесцветного дворянского племени, которое ничем возвышенным, благородным не отличило себя в полной буре и смятений российской

истории, зато в жизни частной, протекавшей большей частью в великорусской провинции, в патриархальной глуши, отрекомендовалось неудержимостью диких страстей, жестокостью, доходившей до зверства, безобразиями самого замысловатого свойства, твердостью неустрашимых характеров и ненасытной жаждой приобретательства.

Среди образованных членов этого малодостойного племени хранилось предание, будто первые Лутовиновы жили большими вельможами при литовских великих князьях, лукаво захвативших Белую Русь в чернейшие времена монгольского погрома Великой Руси, однако захудали по неизвестным причинам и переселились на московские земли, видимо, в расчете на то, что будет нетрудно урвать что-нибудь при щедрых московских царях; однако московскими царями награды и милости раздавались дворянству, пришлому и своему, единственно за верную службу, тогда как Лутовиновы, как выяснилось в самое короткое время, избалованные, испорченные безмерными польско-литовскими вольностями, служить не умели. Лишь один Трофим Лутовинов, по характерному прозвищу Мясоед, сумел отличиться при недолговечном, коварном и хитром царе Василии Шуйском, однако и ему долго пришлось выпрашивать награду за свои не совсем ясные услуги второму отечеству, обретенному в недавнее время, и получил он ее спустя так много лет, как будто никаких услуг и не было вовсе, да и отломили ему до обидного мало, всего-навсего четверть сельца Спасского, к тому же расположенного на чрезвычайно опасной, распахнутой на все стороны, подверженной непрестанным татарским набегам южной Украине. Жалованная грамота, наконец выданная первого ноября 1622 года избранным царем Михаилом, гласила:

«А он, Мясоед, будучи на Москве в осаде, против врагов наших стоял крепко и мужественно и к царю Василью и к Московскому государству службу многую и достоинство показал, голод и пагубу и во всем оскудение, всякую осадную нужду терпел многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на которую не покусился, стоял в твердости разума своего крепко и непоколебимо. И отое их велия службы и крепкого осадного сидения польские и литовские люди и русские воры от Москвы отшли».

Марк Трофимович, сын Мясоеда, при тишайшем царе Алексее Михайловиче сделал литовский поход в качестве воеводы городка Мценска, за что, «похваляя его службы, промыслы и храбрость в роды и в роды» получил еще малую толику землиц вокруг Спасского. Все же к началу следующего столетия, громкого подвигами Петра, лутовиновские имения влачили в упадке, за ними числилось по ревизским сказкам не более пятисот душ, расстроенных и разоренных непомерной алчностью неудержимых владельцев, сельцо Спасское оказалось поделено между владельцами чуть не на десять частей, сами владельцы

в Спасском отсутствовали, скитаясь по незначительным воеводствам или исправляя цареву службу в Москве на еще более незавидных местах.

Царь Петр Алексеевич круто и властно встряхнул не одно ленивое, невежественное, надутое спесью боярство. Его волей, жестокой, но умной, русские дворяне лишены были пагубной привычки между походами празднично сиживать по усадьбам, наслаждаясь полным и привольным бездельем — отныне каждый владелец земли был обязан служить изо дня в день, постоянно, не отлучаясь без указа от государевой службы. Грозным веленьям царя Петра Алексеевича противиться не осмеливался никто, не противились и спасские Лутовиновы, тем не менее ничего примечательного не выслужили и при великом Петре, при котором только самый ленивый или вовсе блеклый умом и характером не достигал приличного места и чина: обнаружилось тут, что спасские Лутовиновы обладают такими талантами, которые, попадись они на глаза реформатору, напрямик могли привести в острог и в Сибирь. Зато спасские Лутовиновы были подхвачены на крыло и в мгновение ока поставлены на ноги мутной полосой дворцовых переворотов. Именно в те переменчивые, подлые, пошлые времена лутовиновские таланты наконец нашли себе широкое применение, их бешеная энергия развернулась вовсю. Правда, и в те времена эгоизма и стремительного падения нравов им не довелось совершить громких подвигов на благо отечества, но взамен громких подвигов они проявили яростную напористость в приобретательстве.

Родной прадед Варвары Петровны, Иван Андреевич Лутовинов, тянул солдатскую ляжку в гвардейском Преображенском полку, и долгонько тянул ее, не выслужив и самых малых отличий, кое-как сперва возвысился до малого чина сержанта, затем дорос до чина капрала. Лишь спустя одиннадцать лет, в 1737 году, при Анне Иоанновне, бесцветной ленивице, при Бироне, бывшем конюхе, ее фаворите, ему дарован был первый чин офицера. Очень может быть, что Иван Андреевич мало сетовал на медлительность своего продвижения в военных чинах, он едва ли был склонен бегать в штыковые атаки на турок и подставлять себя под картечь. Его неудержимо завлекала иная дорога, и спустя недолгое время он очутился обозным, каптенармусом и квартирмейстером. Времена стояли изменчивые, государыни то и дело качались на опозоренном троне, к своей бесцветной персоне приближали весьма и весьма случайных людей, случайные люди воровали, лихорадочно и помногу, брали взятки с сознанием своего права брать, и брали широко, как только умеют брать на Руси, безоглядно и нагло, вымогали открыто, обогащались в меру личной проворности и безалаберных обстоятельств продажных времен. Понятное дело, Иван Андреевич Лутовинов,

вскарabкавшись на хлебные должности, быстро, многообразно, жадно жирел и делал, как говаривали тогда, сбережения.

Подобно барсуку, натаскав в нору, сколько удалось натаскать, Иван Андреевич женился на Мавре Ивановне Лаврецкой и с регулярной последовательностью сделался отцом восьмерых детей. Старшая, Анна Ивановна, была выдана им за Сергеева, Ольга Ивановна пошла за Ренова, Аграфена Ивановна оказалась за Шеншиным, Елизавета Ивановна приглядела себе Аргамакова, Дарья Ивановна связала горькую судьбу с Рыкачевым, а сыновья были отправлены государеву службу служить — служить, разумеется, по-лутовиновски.

Появившись на свет в 1743 году, уже при государыне Елизавете Петровне, Петр Иванович Лутовинов восьми лет от роду записан был в службу, явился в полк восемнадцати, а в 1767 году, при государыне Екатерине Алексеевне, был уже капитан-поручиком гвардии. Он ни в чем не знал удержу, резвился и буйствовал, за очень короткую, всего лишь сорокалетнюю, жизнь судился несколько раз и принял смерть, находясь под судом. Его стремительная карьера, обеспеченная более положением отца, чем усердием в службе, оборвалась неожиданно и совершенно по-лутовиновски. В том же году, в компании с братцем Алексеем Иванычем, дослужившимся только до прапорщика, он был откомандирован в Зимогорский ям, по случаю проследования в Москву царского поезда, на подставу, сторожить лошадей. Решившись воспользоваться нечаянным случаем, который его простому уму представлялся благоприятным, Петр Иваныч ринулся без оглядки в наживу самую хищную. Он силой брал обывательских лошадей, оставляя в своем кошельке прогонные деньги, почем зря драл ямщиков и дошел до того, что с одной ямщиковой жены ни за что ни про что содрал два рубля, то есть не гнушался и самой малой добычей. Именно эти два рубля и сгубили его. Ямщик, что называется сдуру, ее оскорбленный супруг, пожаловался проезжавшему офицеру на капитана-поручика, объявив под присягой, что «дом его и домашние претерпевают от него, Лутовинова, и от команды его разорение и обиды». Капитан-поручик, «известясь о своем поношении», со всей командой нагрянул на ямщика и повелел негодяя анафемски сечь, причем во время несправедливой экзекуции у правдолюбивого ямщика пропали неизвестно куда и остатние деньги, зажиток многих трудовых лет.

Вот только после этого подвига, когда грязное дело приняло совсем уж бессовестный оборот, капитан-поручик Петр Лутовинов оказался под следствием, тогда как брата его Алексея Иваныча от ответа освободили, однако по молодости его ранних лет. Суд был скорый, в порядке исключения правый: двадцать восьмого апреля гвардейский офицер был признан

виновным в том, что «употребил команду свою в не подлежащее до службы дело».

Беспристрастие суда нельзя не признать поразительным, тем не менее приговор был вынесен из рук вон гуманный: Петра Лутовинова «за прописанные в оном сообщении вины на три месяца арестовать, считая с того времени, как он арестован, а пропалые у ямщика, так и приговоренные за бой деньги взыскать и подтвердить в приказе, чтоб он впредь от таковых офицеру непристойных поступков воздержался».

Попад в переплет, капитан-поручик, надеясь загладить вину, в особенности вознамерившись побыть в отдалении от благодетельного начальства, попросился из гвардии в армию, однако граф Алексей Орлов, сам человек отнюдь не безгрешный, нашел необходимым доложить государыне:

«Капитан-поручик Лутовинов следовал по старшинству в капитаны. Но как оный поданной челобитной просил о выпуске в армию, но хотя и выпущен не будет, то не осмелюсь вашему императорскому величеству ево в произвождение представить, потому что он был под судом и оказался винным».

Могущественный граф несколько путался в природной российской грамматике, но грязного дела не позабыл, а государыня без колебаний утвердила доклад. Немилость была очевидна. Капитан-поручик Петр Иванович Лутовинов подал в отставку, не то из протеста, не то из опасения заслужить и большие неприятности, чем грубый отказ в производстве в следуемый чин капитана. Иван Андреич, его более осторожный отец, в отставку вышел еще прежде старшего сына. Ему зачли беспорочную сорокадвухлетнюю службу и при отставке наложили чин бригадира, довольно распространенный, когда речь заходила о таких терпеливых, но бесталанных, неприметных служаках.

Дарования Ивана Андреича, ни одной царицей прежде не признанные, наконец развернулись во всю свою ширь. Едва поселившись в Спасском на постоянное жительство, он тотчас округлил теперь уже родовое гнездо, до того малозначительное и разоренное. В 1774 году за ним уже числилось полторы тысячи душ, вместо пятисот, доставшихся ему по наследству. Соседи, слышанные о его службе в должности каптенармуса и квартирмейстера, втихомолку поговаривали между собой о мешках, набитых золотыми монетами, и о старом, от скупердяйства слегка тронувшемся в уме бригадире, который перед сном каждый вечер тростью стучит по мешкам, чтобы удостовериться в целостности и сохранности своих далеко не праведных сбережений.

Отцовское сердце Ивана Андреича было спокойно за младших детей: младшие дети довольно успешно проходили карьеру и тем тешили родительское тщеславие ушедшего на покой бригадира. Алексей Иваныч, остепенившийся в отсутствие старшего брата, имел счастье попасть в морскую экспедицию к греческим островам, сражался при Чесме и на острове Лесбос, принял участие в десанте против турецких батарей, которым командовал Федор Орлов, впрочем, ни в одном из сражений не проявил героизма или хотя бы должной для офицера сноровки, тем не менее тридцати всего лет был произведен в бригадиры и чином сравнялся с престарелым служакой-отцом. Ивана Иваныча удалось определить в императорские пажи, так что, казалось, и его будущее не могло не быть обеспеченным.

Горе свалилось на старика в лице старшего сына. Водворившись в деревне на жительство, отставной капитан-поручик не мог и не собирался остепениться. Он созрел, он вступил в тот фазис развития, когда человек уже не меняется. С одной стороны, он тяжело и озлобленно завидовал братьям, которые были младше, однако несравненно удачливее его. С другой стороны, в деревне для него наступили благодатные времена безнаказанности и той анархической воли, которая так притягательна, так желанна для вечно утесняемой русской души. Несчастный указ о вольности дворянской dokonчил превращение русского дворянина в неукротимого паразита и дикаря; многие тогда, как и Петр Лутовинов, оставляли стеснительную государеву службу и переселялись в родовые имения, где они располагали правом суда, по своему благорасположению могли законопатить в вечную каторгу непокорного мужика, причем нерасчетливое правительство в такой мере шло навстречу его диким инстинктам, что без суда и следствия законопаченный в вечную каторгу, дабы не подрывать благосостояния ретивого дворянина, шел в зачет рекрута, что не могло не повести к ослаблению армии.

Петр Иванович до того развернулся, что Иван Андреевич почел за благо выделить его еще при жизни своей, что крайне редко приключалось в патриархальном дворянском быту. Старший сын получил от предусмотрительного отца владения в разных частях Орловской и Калужской губерний, в том числе Долгое и Топки. Он избрал местом жительства Долгое, несколько лет обитал там на привольную холостяцкую ногу, охотился, ссорился с соседями и судился, большей же частью хладнокровным захватом округлял свои земли на счет маломощных или робких помещиков.

Впрочем, куда чаще помещиков его жертвами становились однодворцы и государственные крестьяне, вовсе беззащитные в своей независимости. Он просто-напросто объявлял своей

собственностью все то, что ему приходилось по вкусу: пашню, луг или лес. Ошалевшие от такой наглости, не взявшие в толк, что государевым указом о вольности дворянской российскому дворянину дозволялось чуть ли не все, что взбрело на ум, соседи отправляли жалобы в суд, наивно рассчитывая отыскать в суде справедливую защиту от разгулявшегося на просторе насильника.

Однако суд извечно становится на сторону сильного, и все эти законные тяжбы за возвращение неправо отторгнутого собственного добра тянулись не годами, а десятками лет. Капитан-поручик Петр Лутовинов был нетерпелив и гневлив, о чем с избытком извели ямщики Зимогорского яма. Все дела в свою пользу он требовал окончить как можно скорей. Однажды в Ливнах приказные осмелились ему возразить:

— И, Петр Иваныч, как это вы сами не можете справиться с негодями.

По всему видать, что «негодяи» стояли за правое дело, и это обстоятельство в некотором смысле смущало приказных. Таким образом, дозволение, хотя бы и косвенно, было дано. Петр Иванович, воротившись домой, собрал дворовых и егерей, вооружил их чем ни попало, расставил в засадах и скрытых местах и послал к «негодьям» сказать, чтобы шли с его земли и не смели пахать там, где он им пахать не велит. Понятное дело, сделалась брань, за бранью сделалась свалка, а свалка вскоре превратилась в побоище. Тут Петр Иванович наехал на «негодяев» во главе дворовых и егерей, перед тем напившихся допьяна. «Негодяи», вошедшие в раж, на его силу ответили силой. Обе стороны остервенились так, что на месте осталось убитыми до пятнадцати человек, причем утесненные однодворцы отбивались дубьем, тогда как барские егеря палили из пистолетов.

Лутовиновцы, разумеется, одолели. Петр Иванович, должно быть, от пролитой крови потерявший остатки благоразумия, собрал с поля боя еще теплые тела убиенных, повез их в Ливны через селение побежденных противников, велел своим людям зажигать их с обоих концов и, глядя, как огонь пожирает дома, в упоении мщенья кричал:

— Я бич ваш!

В Ливнах он доставил мертвые тела прямо в суд и просто сказал:

— Вот, господа, управился сам.

Столь очевидное свидетельство разбоя должно было пронять хоть кого, и ливенский суд постановил заключить отставного капитан-поручика Петра Лутовинова под стражу, не в первый раз, как известно, однако в скором времени выпустил его на поруки, ограничив свою деятельность следствием над его дворовыми и егерями, на головы которых и пала вина беспутного барина. Петр Иванович лет десять, пока длилось неторопливое следствие, просидел сиднем в деревне. В эти десять лет человек пятьдесят его подданных померло в остроге от голода и болезней, а сам он просудил все имение, лишь бы заведенное следствие тянулось до бесконечности.

Он продолжал, конечно, бесчинствовать, несмотря и на то, что все десять лет состоял под домашним арестом. Человек жестокий, увлекающийся в вихри страстей, не склонный, да и не способный себя удержать, он уже остановиться не мог. В архиве ливенской воеводской канцелярии затерялось дело 1776 года по иску Петра Лутовинова на однодворца Ивана Тихонова сына Казина со товарищи, обычный межевой спор, до которых Петр Иванович, как видно, был неизлечимый охотник. Исходя из этого дела, он сумел превратить межевой спор в новую кампанию с применением силы, с вытаптыванием чужого хлеба, выкашиванием чужих сенокосов и даже убиением чужого скота, и на то, чтобы замаять и это пренеприятное дело, тоже понадобились немалые средства на взятки приказным, как искони водится в весьма либеральных российских судах.

Что ни говори, а под благодетельным домашним арестом все-таки пришлось ограничить себя склоками и злодействами в самой ближней округе. Столь малое поприще не смогло истощить его бешеную страсть к истязанию и ограблению ближнего. Петр Иванович заскучал, заскучал да вдруг взял в жены Екатерину Ивановну Лаврову, не по любви взял, он этого высокого чувства не знал, а скорее по разительному сходству буйных характеров: под стать ему, она была жестока, самолюбива и самовластна. Он на ней истощал свою неистощимую страсть. Она ему отвечала, видать, отвечала с таким же неудержимым бесстрашием. Во всяком случае, он в этой вседневной сваре семейной как-то скоро истощил весь наличный запас жизненных сил и внезапно скончался всего-навсего на сорок четвертом году. Но и смерть супруга не сумела удовлетворить Екатерину Ивановну. Из недолгой совместной жизни с Петром Ивановичем она вынесла неутолимую ненависть ко всем Лутовиновым и спустя много лет, тридцать первого января 1803 года, сочла необходимым пожаловаться в Сенат:

«Жизнь мужа моего была образцом распутности, а вместе с тем единственным всех зол моих источником, ибо по вступлении моем в брак, не могла я еще осмотреться в сем

новом состоянии, как он ни в долгое время все мои вещи и серебро проиграл в карты, да до супружества еще отяготил незаконно имение долгами».

И до того бушевали нездоровые страсти в этом беспутном семействе, что осталось неясным, когда именно у этих люто ненавидевших один другого родителей явилась на свет единственная дочь, Варвара Петровна, кажется, все-таки после того, как Петра Ивановича уже не оставалось в живых. Не успев его схоронить, едва разрешившись от бремени, Екатерина Ивановна оставила вконец разоренное Долгое и обосновалась на жительство в сельце Холодове Кромского уезда, в имении брата, Николая Ивановича Лаврова.

Николай Иванович был человеком загадочным. В ту пору он служил батальонным командиром в Бугском егерском корпусе, которым командовал генерал, пока что из малоизвестных, Михаил Илларионович Кутузов. Батальонного командира и генерала связывала крепкая дружба. Может быть, благодаря исключительно ей Николай Иванович успел в короткое время сделать основательную карьеру. В 1793 году премьер-майор и кавалер Лавров был прикомандирован к русской миссии в Турции, которую возглавил Кутузов, в 1812 году он командовал штабом гвардейского корпуса и штабом Первой западной армии, при Бородине под его началом была гвардия, его имя значится на Бородинском мосту, а между тем его личность так и осталась в тени, не отмеченная ни одним из мемуаристов или биографов той блистательной, знаменитой поры.

К несчастью, влиятельный брат служил от нее вдалеке. Екатерина Ивановна панически страшилась всех Лутовиновых. В ее возмущенном мозгу крепко засела несуразная мысль, будто Лутовиновы жаждут лишить ее дочери, хотя никто из мужней родни о ее дочери даже не вспоминал. Чтобы от злодейских их посягательств уберечь свою дочь и себя заодно, она упростила своего дядю Бибикова стать опекуном Варвары Петровны. Илья Богданович, в возрасте пятидесяти лет, был в ту пору командиром Кутузова, к тому же он с Кутузовым состоял в близком родстве, а родство на Руси во все времена превыше всего.

Таким образом, Варвара Петровна вдруг получила высокого покровителя, который, к несчастью, тоже был далеко. Этим в сущности нелепым поступком окончив все свои попечения о малютке, Екатерина Ивановна поспешила второй раз выйти замуж, за кромского помещика Сомова, тоже вдовца, обремененного двумя дочерьми, уже входившими в возраст. Собственной дочери она не любила, поскольку та была Лутовинова, и вскоре под воздействием нового мужа, едва ли уступавшего покойному Петру Ивановичу крутостью и

беспардонностью нрава, сделалась мачехой для Варвары Петровны и родной матерью для девиц Сомовых, своих падчериц, так что родная дочь, вопреки сказке, сделалась золушкой.

Детство Варвары Петровны превратилось в кошмар. Никем не любимая, но с жадной любви, она терпела унижения и оскорбления отовсюду. С ней обращались жестоко. Сомов ее ненавидел, принуждал повиноваться своим капризам и капризам избалованных своих дочерей, бил ее и на ней, чрезмерный любитель ерофеича и мятной водки, срывал свой тяжелый хмель.

Для Екатерины Ивановны новый брак тоже обернулся кошмаром. Она и второму мужу не уступала ни в чем. Немудрено, что ее нервная система скоро разрушилась, и ее в еще не старые годы разбил паралич. Тем не менее, она не теряла присутствия духа и стала невыносимой. Ей приходилось по причине болезни целыми днями полулежать обложенной подушками в поместительном кресле. Что ж, находя в этом единственное свое развлечение, она изводила всех своими придирками. Однажды ей показалось, что приставленный к ней казачок был неловок. Она приподнялась кое-как, цепкими пальцами ухватила полено и ударила его по голове так, что мальчик, обливаясь кровью, упал. Тогда она засунула его под подушки и сидела на нем до тех пор, пока он не затих.

В том же духе оборвалась ее горькая, бесполезная жизнь. Почувствовав, что часы ее сочтены, она велела призвать к ней священника. Священник явился и принялся читать над ней отходную, да, приметив, что она и в самом деле отходит, поспешил окончить молитвы и сунул ей крест. Из последних сил она отстранила крест от своих перекошенных губ и проговорила коснеющим языком:

— Куда спешишь, батюшка, успеешь.

Оторопевший поп окончил как должно и с должным почтением подал ей крест. Она с благочестием приложилась к нему, стала что-то шарить у себя под подушкой и вдруг померла. Когда ее приподняли, под подушкой открылся приготовленный рубль: она сама хотела заплатить за свою отходную.

Сомов совсем обезумел, очутившись с тремя детьми на руках, и пил уже непрерывно. Когда же Варваре Петровне пошел шестнадцатый год, он стал ее домогаться, пьяно и грубо. Не столько оскорбленная, сколько испуганная, она при тайном содействии няни решилась

бежать. Пешком прошла она шестьдесят верст, полураздетая, в полубреду, и явилась неожиданно в Спасском, у дяди Ивана Ивановича, который до того дня ни разу не вспомнил о ней. Делать было однако же нечего, Лутовиновы тоже родством не шутили, и дядя ее приютил.

Глава вторая

ДЯДЯ ИВАН ИВАНОВИЧ

Только и в Спасском не нашла Варвара Петровна ни любви, ни покоя, которых искала изможденной душой. Дядя Иван Иванович тоже ведь был Лутовинов. Девяти лет его определили пажом, и первую выучку он прошел при екатерининском грязно-развратном дворе, то есть приобрел безукоризненные манеры по европейскому образцу, сделался записным вольтерьянцем, все французское предпочел всему русскому, о котором понятия не имел, в светской беседе неуклонно отстаивал преимущества просвещенного разума и за неисцелимую глупость всей душой презирал человечество. О нем внучатый племянник напишет лет пятьдесят спустя:

«Он был не велик ростом, но хорошо сложен и чрезвычайно ловок; прекрасно говорил по-французски и славился своим умением драться на шпагах. Его считали одним из блистательных молодых людей начала царствования Екатерины... Вообразите себе человека, одаренного необыкновенной силой воли, страстного и расчетливого, трепливого и смелого, скрытного до чрезвычайности и — по словам всех его современников — очаровательно, обаятельно любезного. В нем не было ни совести, ни доброты, ни честности, хотя никто не мог назвать его положительно злым человеком. Он был самолюбив — он умел таить свое самолюбие и страстно любил независимость. Когда, бывало... он... улыбаясь, ласково прищурит черные глаза, когда захочет пленить кого-нибудь, говорят, невозможно ему было противиться — и даже люди, уверенные в сухости и холодности его души, не раз поддавались чарующему могуществу его влияния. Он усердно служил самому себе и других заставлял трудиться для своих же выгод, и всегда во всем успевал, потому что никогда не терял головы, не гнушался лести как средства и умел льстить...»

Этот безнравственный человек, такой обворожительный, ловкий при дворе не удержался из вздора, как его поступок все понимали тогда. Он был, по обычаю екатерининского двора, сладострастник великий и своими бесчисленными победами, без сомнения, делал честь тому

обществу, в котором вырос и в котором вращался. Несмотря на свою сугубую скрытность, на свою льстивую изворотливость, он получил вызов от оскорбленного мужа, разумеется, дрался и тяжело ранил противника. Замять историю не удалось, как он ни старался. Паж отроду всего восемнадцати лет был выпущен поручиком в Новгородский пехотный полк. С этим полком он принял участие в первой русско-турецкой войне, но вскоре после ее окончания вышел в отставку, не продвинувшись по служебной лестнице далее секунд-майора, видимо, угадав, что на этом поприще для него закрыты вершины, а меньшего он не хотел. Приблизительно в то же время и его брат Алексей Иванович вышел в отставку, выслужив чин бригадира. Оба брата-холостяка избрали местом жительства Спасское, однако прожили совместно недолго, лет семь. После кончины их матери Мавры Ивановны они разделились. Алексей Иванович получил свою долю наследства в Ефремовском уезде и туда удалился. Иван Иванович, по старинному праву младшего сына, остался править и жить на дедовском корне.

Он поражал воображение деревенских помещиков-увальней, едва обучившихся грамоте и хорошо, если изредка читавших газету или какой-нибудь календарь. Его светская выправка представлялась им совершенством недостижимым. Вышколенный камердинер-француз вызывал благоговейную зависть у тех, кто всю жизнь обходился услугами какого-нибудь сиволапого Кузьки. Громадная библиотека вызывала недоумение. В головах тугодумных соседей не могло уложиться, из какой такой надобности Иван Лутовинов выписывал из обеих столиц множество самых разнообразных книг и журналов, платя за них громадные деньги. Они лишились бы дара речи, если бы знали, что он не только выписывал, но и многие новинки читал. Больше того, он любил с неослабевающим удовольствием перечитывать аббата Прево и Жана Батиста Мольера, изучал лекции Фергюссона по гидравлике, «Размышления о греческой истории» Мабли и «Утопию» англичанина Томаса Мора. Соседи и без того перед ним трепетали. Он внушал им почтение одним своим видом, сухостью обхождения, пудренным париком и легкостью французского языка, с говором чуть не парижским.

Опасливое благоговение простодушных соседей пришлось ему весьма кстати, когда указом матушки Екатерины в Орловской губернии был образован Мценский уезд. Вдруг представились к замещению вакантные должности. Околдованные столичным дивом, помещики избрали Ивана Лутовинова уездным судьей, не считаясь с тем обстоятельством, что судье едва минуло двадцать пять лет, и это при том, что провинция всегда отдает предпочтение летам солидным, летам преклонным и пренебрежительно глядит на зеленых юнцов.

Необозримые просторы обогащения, особенно власти, открылись перед Иваном Ивановичем. Поклонник Мольера, Мабли и Томаса Мора, всей душой презиравший людей, он дал полную волю неудержимой лутовиновской страсти, по наследству засевшей и в нем. Он отбирал имущество, оскорблял безнаказанно, из потехи и сладострастия увозил чужих жен, случалось, прямо из-под венца, то есть бесчинствовал во всю неоглядную ширь необузданной русской природы, которой никакой закон, никакой Мольер, Мабли и Томас Мор не указ.

Тем не менее, три года спустя, когда истек положенный срок его должности, уездное дворянство, точно им зачарованное, не пожелав придавать значения очевиднейшим его безобразиям, предоставило ему новую должность, на этот раз должность предводителя дворянской опеки, тоже дававшую широкий простор для обогащения и особенно власти, и его обогащение пошло полным ходом, а о его безобразиях уже тогда стали слагаться легенды, нечто вроде уездного богатырского эпоса. Ему пришла в голову мысль собрать воедино все те родовые владения, которые в течение двухсот лет разошлись по чужим, недостойным, как считал он, рукам.

Он выкупал, забирал силой, запугивал, крючкотворствовал, получал по наследству. Сельцо Спасское, до того поделенное на несколько мелких частей, было выкуплено у совладельцев и наконец полностью перешло в род Лутовиновых.

Но не одно обогащение занимало его. Сладострастие тоже не остывало ни на день, ни на час. Соседские жены уже не могли удовлетворить его пресыщенных прихотей. Ему стали необходимы все более острые ощущения. В то время в Спасском проживала родная сестра его, Дарья Ивановна, девица, достигшая того смутного возраста, когда трудно уже рассчитывать на замужество. Вольтерьянец, философ, поклонник Мольера, Мабли и Томаса Мора, не смутясь духом, ее соблазнил. Когда же естественные последствия этой не совсем естественной связи, однако длившейся довольно долгое время, нельзя было скрыть, Иван Иванович выдал ее за отставного провиантмейстера Рыкачева. К несчастью всех заинтересованных лиц, брак случился недолгим. В феврале 1795 года, потрясенная внезапной насильственной переменой и ложным своим положением, Дарья Ивановна скончалась при родах, успев-таки произвести на свет сына. Рыкачев, должно быть, не представлял, что ему делать с внезапным сюрпризом судьбы. Младенец не прожил и года. Один Иван Иванович, его безутешный отец, принял его смерть близко к сердцу. Он настоял, чтобы безвинный младенец похоронен был в Спасском. Рыкачев тому не противился.

Надгробная плита, воздвигнутая на его могилке Иваном Ивановичем, как-то скоро пострадала от непогоды. Все-таки можно было на ней разобрать:

«...скончался в 1796 год апреля 12 д. И тут погребен дядею ево и другом матери ево Иваном Лутовиновым и в память сему младенцу предел сей во имя святого Николая Чудотворца соорудил».

Отдав запоздалый долг непредвиденному младенцу, очистив беспокойную совесть возведением придела во имя святого Николая Чудотворца, Иван Иванович скоро оправился и принялся вновь бесчинствовать с наглостью уже беспредельной, так что долго еще по окрестностям сохранялась память о его безобразиях. Потомкам его лишь немного удалось записать:

«А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек! Обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете, — да и как вам своей земли не знать, — клин-то, что идет от Чаплыгина к Малинину?.. Он у вас под овсом теперь... Ну, ведь он наш, — весь как есть наш. Ваш дедушка его у нас отнял; выехал верхом, показал рукой, говорит: «Мое владенье» — и завладел. Отец-то мой, покойник, царство ему небесное, человек был справедливый, горячий был тоже человек, не вытерпел, — да и кому охота свое добро терять? — и в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли — побоялись. Вот вашему дедушке и донесли, что Петр Овсяников, мол, на вас жалуется: землю, вишь, отнять изволили... Дедушка ваш к нам тотчас прислал своего ловчего Бауша с командой... Вот и взяли моего отца и в вашу вотчину повели. Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ними побежал. Что ж?.. Привели его к вашему дому да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе да поглядывает, а бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «Матушка Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только знай приподнимается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступить от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у своих мужиков: как, мол, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем взята...»

В самый разгар таких вот порубежных баталий Варвара Петровна и прибежала к нему. Иван Иванович уже закоренел в деспотизме, к чему всякого человека безнаказанность ведет непременно, и спуску ей не давал. Она же и в шестнадцать лет обнаружила себя с характером неподатливым, непреклонным: бежала от отчима, не желая ему покориться, тем более не желала покоряться родному дяде. Неизвестно, до каких сшибок в первое время у них доходило, только много позднее сама Варвара Петровна рассказывала, что Иван

Иванович в горячах повелел содержать ее в затрапезе, точно мужичку, а порой запирал под замок.

С течением времени они все-таки прижились, притерлись друг к другу, а там Иваном Ивановичем овладела новая мысль. Возмечталось ему всемерно облагородить степное свое захолустье. Сотни подневольных крестьян его повелением вырывались из родных деревень. В березовой роще на пологом холме было отбито десятин тридцать под строительство новой усадьбы. Первым делом при въезде в нее был сооружен большой просторный каменный храм, а по другую руку каменный мавзолей, которому назначалось вечно хранить его прах, в назидание и в память потомкам. На расстоянии ста метров от них, чтобы храм и мавзолей с утра до ночи стояли перед глазами, в виде широко изогнутой подковы был возведен из крепкого дуба главный усадебный дом, с колоннами, с нишами, с двумя полукруглыми галереями и флигелями. Позади дома были разбросаны тут и там службы, ледники, погреба, винные подвалы, каретные сараи, конюшни и баня. Перед домом разбили громадный цветник, засеянный тюльпанами, ирисами, пионами, левкоями, астрами. От степных обжигающих ветров драгоценный цветник укрылся сплошными кустами сирени, акации, жасмина и жимолости.

Истинным же чудом явился приусадебный парк. На отведенное под него место пересаживались взрослые ели, сосны, пихты и лиственницы, поскольку владельцу некогда было ждать, когда они подрастут. Деревья выкапывали со всей осторожностью, чуть не руками, чтобы не повредить ни одного корешка, оставляя стул пудов в полтора саженя земли, бережно поднимали на особые снасти, изготовленные сноровистым русским умом, перевозили стоймя и так ставили в землю, с таким непременно расчетом, чтобы аллеи скрещивались, образуя римское число XIX, имя столетия, в которое горделивый владелец вступал с таким феерическим блеском.

Владелец всех этих роскошеств, по понятиям бедных соседей, чрезмерных, чуть ли не сказочных, в новых хоромах зажил владетельным князем, чему позавидовали бы многие действительные князья, в особенности из немцев. Вычурная богатая мебель, драгоценные ковры, вывезенные из восточных сторон, свои музыканты, певцы все из тех же подневольных крестьян, жестоко проклинавших музыкальные увлечения подлого барина, полный двор вышколенной прислуги любого ранга, сорта и назначения. Сотню, полторы сотни гостей одновременно приглашал он к себе, поражая крикливым богатством и бесконечным гостеприимством. Ссоры лучших в округе собак бывали к услугам гостей, они с гиканьем, с

трубными звуками неделями носились по окрестным полям, загоняя зайцев, лисиц и волков, вытаптывая все, что ни попадало им на пути. Наохотившись вдоволь, они собирались в его двухэтажном особняке и пировали, как и сколько заблагорассудится. Пирывания продолжались и в зимнее время, только в собственном доме в Орле задавались пышные балы. Жемчуг скупался горстями. Иван Иванович, пятидесяти лет превратившийся в старика, был щедр на расходы, однако его казна не скудела, напротив, его казна еще увеличивалась, будто ему удалось открыть философский камень, превращающий в золото медь. Впрочем, его философский камень по-русски был немудрен: его крестьяне беднели день ото дня.

Двенадцатый год чуть не подкосил ревностного поклонника либеральных французских идей. Нашествие Бонапарта в пух и прах расшибло его убеждения юности. Никак не мог он сообразить, как могли соотечественники Вольтера, Мольера, Мабли даже помыслить напасть на Россию. Когда же эти безрассудные соотечественники столь великих людей спалили Москву, с ним приключился удар, который чуть не унес его на тот свет, однако же не унес. Иван Иванович скоро оправился, но перемены в его душе произошли кардинальные. Русский человек при виде нашествия иноплеменных в нем пробудился, в один день он сделался патриотом, забросил свои излюбленные французские книги, перестал говорить по-французски, а все больше по-русски, правда, не совсем правильно и не без помощи более привычных ему галлицизмов, стал париться в бане, обедать в два часа, ложиться в девять, под лепет древнего старика, специально для него где-то добытого, чтобы на ночь барину сказывать сказки.

Не один патриотизм удержал его у края могилы. Посреди общей разрухи он сделал открытие, делавшее честь его проницательности, просвещенности и уму: он вдруг прозрел, что уже не Вольтер, не Мольер, не Мабли, а единственно деньги станут править девятнадцатым веком, что за деньги все можно будет купить: и власть, и закон, и любовь. Он сделался ростовщиком. Стяжание и расточительство соединились в нем воедино, еще крепче, чем прежде, словно Иван Иванович заторопился напоследок всем насладиться, прежде чем настанет черед мавзолея. Самое нашествие проклятого Бонапарта обернулось для него золотым дном. После пожаров, наборов и реквизиций вся округа нуждалась в деньгах, к нему потянулись из уезда, из губернии, из соседних губерний, наконец, из опустевшей, опустошенной Москвы. Его должниками оказались Юсуповы, Загоскины, Корсаковы, Протасовы, Шеншины, Кривцовы, Глазуновы, Апухтины, не считая менее известных семей. Только по закладным двух последних лет его жизни он насчитал до двухсот тысяч рублей. Как тут было ему не ожить!

Таким образом, в дядином доме Варвара Петровна прошла преотличную школу, не образованности, но жизни. Собственно, образования ей не досталось, ее с младенчества никто не воспитывал. Ей досталось быть самоучкой, она прилаживалась к тем крутым обстоятельствам, которые грозили ее уничтожить, и приобрела те качества, те свойства души, которые позволяли ей выжить и добиться хотя бы того, чтобы милый дядя более не запирали ее под замок. Она выглядела старше своих лет: сироты быстро взрослеют. Она выросла некрасивой, но была очень умна. От милого дяди она переняла некоторую светскость манер, которую бывший екатерининский паж не утратил и на старости лет, склонность к французскому языку и французским романам, впрочем, без малейшей примеси Мабли и Вольтера. Собственная судьба и пример милого дяди тверже философов учили ее, что одни деньги их владельцу доставляют свободу и власть, сладчайшую власть над другими людьми. Она целиком сосредоточилась на этой плодотворной идее всей ее жизни и принялась кропотливо собирать свое, не зависимое ни от кого состояние.

Громадное дядино наследство было еще впереди, а она уже считалась богатой невестой. После смерти отца она получила Топки с ткацкой фабрикой, с мельницей, это кроме крестьян и земли. После матери к ней перешли в Кромском уезде Холодово и Кочевая. Больше того, она вдруг получила равную с дядей долю наследства после смерти дяди Алексея и теток, Ольги и Дарьи. Правда, женихов отчего-то все не было. Может быть, они за сто верст объезжали усадьбу, в которой совершались таинственные происшествия вроде младенца Ивана, обер-провиантмейстера Рыкачева и «друга матери ево». Может быть, намечались и иные причины равнодушия к столь богатой невесте. Многим должно было быть подозрительным, что Варвара Петровна, владея большим независимым состоянием, продолжала проживать в доме самовластного дяди, хотя впоследствии часто жаловалась на суровость его обхождения: ей ничего не стоило отселиться в одно из своих весьма доходных имений и жить там на своей полной воле, она же не предпринимала даже попытки от него отселиться.

Разумеется, самые понаторевшие из местных умов не могли исключить, что Варвара Петровна страшилась упустить еще одно наследство, на этот раз от дяди Ивана Ивановича, стоившее всех ее прежних наследств: в ней рано заговорила в полный голос лутовиновская жажда стяжания, а поверенным в делах у дяди Ивана Ивановича очень скоро завелся Алексей Тимофеевич Сергеев, тоже племянник, но старший, сын Анны Ивановны, так что в ее отсутствие он вполне мог превратиться в единственного наследника. И все-таки уж очень подозрительно было то, что она трижды получала равную с дядей долю наследства, тогда как

другой племянник, старший, Сергеев, не получал ничего. Правда, опять-таки предполагали, что поначалу интересы Варвары Петровны мог защищать ее опекун, Илья Богданович Бибииков, губернатор в Казани, позднее ставший сенатором: сам Лутовинов не мог не смириться перед властным вельможей такого полета и не поделиться с племянницей долей добычи, даже если он этого не очень желал. Тем не менее, всем в округе было известно, что Илья-то Богданович скончался в 1803 году, а владения Варвары Петровны существенно прирастали и без него. После рассмотрения всех этих подробностей в практических умах деревенских мыслителей не мог не завертеться коварный вопрос: да уж не пала ли племянница очередной жертвой старика Лутовинова, неутомимое сладострастие которого было известно не только в смежных уездах, но и в губерниях? Как бы там ни было, даже став богатой владелицей, Варвара Петровна много лет покорялась его самовластным причудам и в девицах оставалась до тридцати трех лет, когда о замужестве перестают и говорить, и мечтать.

Глава третья

УРОК ДЕСПОТИЗМА

Все-таки под самый конец она умудрилась рассориться с ним, несмотря на все свое напускное смирение. Ей пришлось в другой раз бежать, только отчего-то в Орел, а не в одну из своих деревень. Иван Иванович, взбешенный неблагодарностью и своевољством перезрелой девицы, поклялся отлучить ее от наследства, повелел управляющему переписать все бумаги, да управляющий сделать ничего не успел. Иван Иванович слишком был потрясен этой ссорой, таки задевшей его за живое, к тому же сказался первый удар, накликаемый беспардонным нашествием Бонапарта. В ожидании новых бумаг, готовясь самолично мчаться в Орел, чтобы оформить завещание по закону, старик приказал домашнему тещу почитать что-нибудь, во время чтения, которое должно было его успокоить, потянулся за табакеркой, потянулся да и остался неподвижно сидеть: сердце его разорвалось, как говаривалось в те времена, восьмого декабря 1813 года, в лютый мороз.

Нарочный, ее человек, успел настичь ее неспешный возок. Не теряя минуты, Варвара Петровна поворотила назад и оказалась на месте печального происшествия вовремя, хотя впоследствии утверждала, что мценский нижний суд прискакал прежде нее, все описал и все опечатал, в полном соответствии с требованием закона. Она с порога объявила себя единственной, полной наследницей и так умело себя повела, что мценский нижний суд без

проволочек утвердил ее права на наследство, хотя не мог же не знать, что у покойного имелись две живые сестры и племянник, тоже, между прочим, живой, и передал ей все бумаги, в их числе опись недвижимого имущества:

«Господский деревянный двухэтажный жилой дом. В первом этаже двенадцать, во втором девять покоев, обусланны на манер каменного, и некоторые комнаты расписаны разными красками, новый. Деревянное строение, примыкающее к правой стороне господского дома. В нем контора, при ней шесть комнат, музыкантская, в ней пять комнат. Галерея каменная в полуциркульном виде, с левой стороны к господскому дому примыкающая. В ней для растений и деревьев тринадцать алебастровых ваз. При одной галерее кухня. Подле кухни курная баня. К оному строению каменная погребница с десятью колоннами и под одной каменный погреб. Близ одной два ледника. Близ дому господского оранжерея, в ней деревья лимонные, померанцевые, персиковые, сливовые, всего около двухсот. Садов плодовых при селе Спасском — четыре. В оных садах павлинья горница. Парников каменных — три. Экипажный двор. Конный двор; при оном: конюшня парадная, конюшня заводская, конюшня ямская. Скотный двор. Птичий двор. Кузница. Столярный флигель. Мельница водяная на Спасском пруду. Ветряная мельница. Флигель для портных и сапожников. Два с мезонинами флигеля людские. Флигель с мезонином для бурмистра и прочих дворовых людей. Больница с мезонином. Флигель для полиции. Флигель с мезонином певческий и музыкальный. Да в сельце Петровском, что при Спасском, лаборатория о двух комнатах. В ней один очаг для водки, три куба простой меди с трубами».

Все эти жилые помещения, флигеля, оранжереи, конные дворы, мельницы и водочный завод, вместе с обширной библиотекой, которую мценский нижний суд в опись включить за нужное не почел, были, разумеется, мелочью в сравнении с главным богатством, которое Варвара Петровна, имея всего лишь птичьи права, получала: ей доставалось около пяти тысяч душ и около ста тысяч десятин земли в Орловской, Тульской, Калужской, Тамбовской и в смежных с ними губерниях. Достался также и капитал, наличными деньгами и долговыми расписками, точную сумму которого удалось утаить, для того она и скакала и обольщала судебных чиновников, которые обольститься рады всегда, а потому приняли ее сторону и в отношении капитала.

Такие богатства хоть кому ударят в голову и вколотят в дрожь. Нечего говорить, как возмутились прочие, более прямые наследники Ивана Ивановича. Две тетки и двоюродный брат не замедлили подать на Варвару Петровну в суд, требуя для себя львиной доли, положенной им по закону, и потянулся по российским судебным ухабам семилетний процесс о

наследстве. Опытный Сергеев, выдавший виды поверенный в делах дяди Ивана Ивановича, очень скоро смекнул, что имеет дело с выжигой высшего свойства, чем даже покойный его благодетель, и поспешил помириться с Варварой Петровной, спросив с нее всего двадцать пять тысяч рублей отступного, сущие крохи от доставшихся ей миллионов. Аграфена Ивановна Шеншина померла, не дождавшись решения никуда не торопившихся судей. Только в мае 1820 года тот же мценский нижний суд постановил считать иск Екатерины Ивановны Аргамаковой неправым и присудил ее к штрафу в восемь тысяч рублей. Затем дело окончательно приняло комический, однако весьма поучительный оборот: и семидесятилетняя Аргамакова померла, ей тоже наследовала Варвара Петровна, и ей, выигравшей этот процесс, пришлось внести за Аргамакову штраф, эти самые восемь тысяч рублей, и судебный исполнитель окончательно похоронил этот удивительный спор о наследстве.

Череда смертей ближней и дальней родни окончательно сделала Варвару Петровну вполне независимой и очень богатой, и не одна только смерть. Она обнаружилась истинной Лутовиновой, и первой целью всей своей жизни поставила приумножение своего состояния. Правда, она уже не бесчинствовала, по причине женского пола, как бесчинствовали отец или дядя, не отбирала ни у кого дубьем достояния, не секла владельцев у себя под окном; верно, кроме женской природы, и некоторая робость, неизбежная при таком детстве и юности, приудерживала ее, не позволяла пускаться в открытый разбой. Она большей частью судилась, выигрывала процессы, прикупала там лужок, там лесок и драла три шкуры с пяти тысяч крестьян, не останавливаясь и перед тем, чтобы последнее отобрать за недоимки.

Казалось, окончились годы унижений, годы страданий, Варвара Петровна благоденствовала на полной воле своей и могла позабыть о прошедшем. Только и настоящее не утешало ее, утешить ее не в силах была никакая власть, никакое богатство, она ничего не забыла. Возраст ее для девицы был давно запредельный, она была невысокого роста, сутулая, с круглым некрасивым лицом, изрытым глубокими порами, нередко в прыщах, говорила невнятно и в нос, одни глаза, блестящие, черные, по временам бывали до того выразительны, что как будто искрились. И во всем ее образе жизни не замечалось ничего женского, женственного, она не вышивала по канве, не плела бисерных кошельков, но любила верховую езду, стрельбу в цель, охоту, недурно играла на биллиарде, много читала, непременно по-французски и непременно романы, лишь изредка снисходя до русской прозы и русских стихов.

Надежду на замужество, на понимание, на чье-либо участие она потеряла давно. Ничего ей не оставалось, как баловать себя, тешить болезненно ущемленное самолюбие той властью, безграничной, неоспоримой, которая дается только богатством. Она и баловала себя, и тешилась всласть.

Она просыпалась обыкновенно в восемь часов и звонила. Давно, с трепетом ожидавшая за дверью спальни Дуняшка или Палашка входила, подавала кофточку и несмятый чепец. Варвара Петровна облачалась в нее, чаем, разбавленным ромом, протирала заспанные глаза, брала в руки молитвенник и читала кафизму. Дуняшка или Палашка подавала свежезаваренный чай. Она медленно выпивала первую чашку и гадала на картах, каков нынче выпадет день, и не приведи Господь, если выпадет черная дама: она до вечера бывала сердита, сама не своя. После гаданья выпивала вторую чашку, обувалась, надевала утренний наряд, молилась перед иконой и шла кормить птиц, которые слетались к своей госпоже по звонку. В двенадцать она завтракала, в три подавали обед, после обеда она не спала, как все деревенские барыни, но читала, ровно в шесть на столе стоял самовар, после вечернего чаю музыканты играли полонезы, польки, мазурки, обученные дети дворовых танцевали для нее или пели, как в тот вечер заблагорассудится ей.

Такому же строгому распорядку подчинялась вся дворня. На каждый день в особой книге она расписывала занятия, рассылала письменные приказы для дворни и слуг. Для посылок ей служило несколько мальчиков, но они были не мальчики-казачки, как у всех: у нее они прозывались пажами. Ее дворецкий, образованный, даже начитанный человек из дворовых, говорил по-французски, являлся всегда в синем фраке, украшенном блестящими пуговицами, с белейшим шейным платком. По-французски умели читать и писать несколько девок, которых она избирала себе для услуг. Одна из них делала выписки из французских романов, которые Варвара Петровна нарочно для нее отмечала, не из надобности, а для порядка. Ее окружали ливрейные слуги в белых перчатках, для них незыблемый закон — ее малейшая прихоть. Она держала собственную полицию из отставных гвардейских солдат, заведенную дядей Иваном Ивановичем, и дополнила ее собственной тайной полицией, во главе которой стояла Прасковья Ивановна, старуха безобразной наружности, с трясущейся головой, жестокая, злая, знавшая каждое слово, произнесенное на усадьбе. Варвара Петровна по ее донесениям вершила суд и расправу, так что на конюшне редкий день не слышались розги. У нее была своя пожарная команда, свои лошади, свои подданные. Становой подвязывал колокольчик за версту до усадьбы, страхась обеспокоить ее, и никогда не являлся ей на глаза: из брезгливости к его чину и званию она с ним сносилась только при помощи слуг.

Разумеется, рабская покорность запуганных, вышколенных, многократно высеченных дворовых не могла заменить ей общество равных, да с равными была просто беда, во всей округе ей не было равных. Пожалуй, она состояла в приятельских отношениях только с Воейковой, родней и другом поэта Жуковского. Лето 1814 года Василий Андреевич проводил у Екатерины Афанасьевны Протасовой, которая приходилась Воейковой матерью, в Муратове, богатом имении, от Спасского верстах в тридцати, а осень и зиму прожил у Авдотьи Петровны Киреевской, по второму мужу Елагиной, в Долбине, от Спасского верстах в сорока. Время оказалось для него плодотворным. Он написал, по его выражению, пропасть стихов. Черновую тетрадь для него перебеливал его старинный приятель Воин Иванович Губарев, безотлучно весь этот год проведший с поэтом, личность довольно оригинальная.

Иван Андреевич, отец Губарева, в век Екатерины служил городничим в Кромах, должность скромная, нередко и склочная, однако не помешавшая ее обладателю сдружиться с Иваном Владимировичем Лопухиным, известным масоном. За связи с масонами Иван Андреевич пострадал, когда многие пострадали по делу Радищева и Новикова, однако успел поместить сына в благородный университетский пансион, открытый в Москве. Воин Иванович учился в одно время с Жуковским да еще с Александром и Андреем Тургеневыми. От отца он унаследовал симпатии к тайнам масонства, дружеское расположение к Лопухину, который, по слухам, явился причиной его полного разорения, и подлинную страсть ко всему, что носило громкое имя Вольтера.

Как-то раз Протасова и Воейкова нанесли визит Варваре Петровне. С ними прибыли Жуковский и Губарев. Обоих мужчин пригласили участвовать в домашнем спектакле. Василий Андреевич, печальный, с глубокой сердечной раной в груди, исполнил роль волшебника и уехал, не оставив следа в избирательной памяти Варвары Петровны, которая до стихоплетства большой охотницей не была, тем более до русского стихоплетства, которое, по ее убеждению, еще не вышло тогда из пеленок. Зато остался Воин Иванович Губарев. Может быть, с ним Варвару Петровну сблизила любовь к Вольтеру да безукоризненный французский язык, до которого она была большая охотница. Беззаботный по части морали, Воин Иванович какое-то время проживал на полном ее содержании. Скоро он вызвал в Спасское свою сестрицу Авдотью Ивановну, женщину ядовитую, с тяжелым характером приживалки и доносительницы, так что она сделалась компаньонкой и приятельницей Варвары Петровны.

Однако даже Губаревы редко к ней заезжали, не говоря о Протасовых и Воейковых. Обыкновенно к богатой, широко гостеприимной владелице жаловали мелкопоместные,

полуразоренные или вовсе разорившие себя кутежами и картами, малограмотные представители дворянского племени, клонившегося к упадку, любители пожить на даровщину, лошадиники и собачники, судейские да еще робкие кандидаты в мужья. Варвара Петровна всех принимала, хоть и поджимала брезгливо маленький рот. Она устраивала богатейшие вечера с собственным театром, с музыкой собственного оркестра. Она кормила и поила всех до отвала. Она приказывала их развлекать, потому что они своими гримасами и ужимками развлекали ее, хотя бы на один этот вечер рассеивали горькое ее одиночество.

Варвара Петровна была образована сносно, хотя до всего и дошла самоучкой, у нее имелся довольно верный эстетический вкус, она даже сентиментальна была, к тому же очень склонна к самоанализу, ради чего вела многие годы дневник. От дяди Ивана Ивановича она переняла фамильную гордость и высокое мнение о достоинствах, которые даются, не могут не даваться всякому человеку богатством. Нечего говорить, что не находилось у нее оснований равнять себя с этой чухьей и дичью, с этими нахлебниками и приживалами, которые валом валили в усадьбу, как мотыльки на огонь. Она откровенно помыкала своими гостями, как ей желалось, и гости безропотно сносили ее крутой нрав: горе бывало тому, кто вздумывал ей поперечить или не подвязать за версту своего колокольчика. Она умела быть умной, очаровательной собеседницей, если попадался сколько-нибудь стоящий собеседник, она умела, если хотела, располагать и привлекать к себе самых разных людей: и в пятьдесят лет, несмотря на возраст и тронутое оспой лицо, она еще имела поклонников. Только вот беда так беда: кого же она могла очаровывать в своем захолустье?

Подобно отцу, подобно дяде Ивану Ивановичу, она была одинока, потому что видела, какое громадное расстояние разделяло ее и ее бесчисленных гостей. Она сознавала достоинство самой образованной женщины, самой богатой владелицы в целой округе, довольно обширной, и преодолевать это громадное расстояние не желала, напротив, она еще увеличивала его, ей нравилось подчеркнуть, что она не такая, как все. Положение вполне безнаказанной, самовластной хозяйки большого поместья вредило ее гордой натуре, и без того эгоистической, противоречивой и нервной. В душе ее страсти пылали, у нее было доброе сердце, воображение увлекало ее из этого пошлого мира в придуманный мир ее книг, ее сердце жаждало сильной, бесконечной любви. А как было воплотить в действительность этот придуманный мир, где было встретить любовь, хоть какую-нибудь?

Ее характер портился день ото дня. Она становилась плаксивой, капризной и мстительной. Пока ее желания исполнялись беспрекословно, пока ей изо всех сил угождали и льстили, она

бывала вежлива, как королева, даже любезна, порой даже ласкова и щедра. Но стоило хоть чем-нибудь не понравиться ей, подать поостывший суп за обедом или возразить, заспорить не дай бог, когда она возглавляла беседу на своих вечерах, она становилась раздражительна, груба и криклива. Она отправляла слуг на конюшню, выгоняла из дома гостей, она измышляла желания прихотливые, неисполнимые, лишь бы всем досадить и почувствовать себя снова, как в детстве, как в юности, униженной, оскорбленной, даже в тех случаях, когда никому и в голову не приходило ее оскорблять.

В сущности, она мстила за свое беспросветное детство, за юность, которой она не имела, наконец, ни за что, потому что в каждом человеке эта одинокая, никем не любимая, никого не любившая женщина видела только того, кто не дал ей счастья, кто ей помешал или просто-напросто попал под горячую руку. Конечно, больше всех и прежде всех она мучила сотни дворовых, которые не по своей воле окружали ее, мучила единственно ради того, чтобы испытать неизъяснимое наслаждение власти, затем она тиранила своих ничтожных гостей и с удовольствием распинала любого, кто хоть чем-нибудь обеспокоил ее. Она наполняла свой дом приживалками и компаньонками, лишь бы иметь под рукой безответные жертвы, истязать которые поначалу было приятно, потом стало необходимо, без этих безответных жертв своего своеволия она уже и жить не могла. Она всех попирала, она по-своему наслаждалась, но и самые жестокие издевательства над людьми, перед ней беззащитными, не могли заменить ей ласки, любви, без которых, как известно, мертв человек.

Глава четвертая

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Два года спустя после внезапной кончины дяди Ивана Ивановича, поздней осенью, когда Варвара Петровна вполне вошла во вкус своей новой жизни, в ее дом в Орле, в котором она, по примеру незабвенного дяди Ивана Ивановича, предпочитала проводить зимы, чтобы, как она выражалась, поджав полупрезрительно губы, не зачахнуть в глуши, появился молодой человек, поручик, гвардеец, кавалергард. Он прозывался Сергеем Николаевичем Тургеневым.

Своим родословием Тургеневы стояли двумя-тремя рангами выше, чем Лутовиновы, их имена возникали то на одной, то на другой странице российской истории, чего с Лутовиновыми никогда не случалось, но и они влеклись не героической, а избитой ее колеей. Дети у Тургеневых рождались все более ординарные, под стать Лутовиновым, они нигде и ни в чем не возвышались над уровнем презренной посредственности, не обладали ни приметным

умом, ни своеобычным талантом, большей частью не удосуживались ступить хотя бы в преддверие образованности. Они исправно служили своим государям, молча покорялись капризам самовластного деспотизма, и если их имена порой попадали в летописные своды, то главным образом благодаря их исполнительности, благодаря их неукоснительной верности долгу; инициатива, стремительная энергия действия ни одному из них не далась.

На Руси объявились Тургеневы в беспокойное время, когда за нехваткой служилых людей любой бродяга, владевший оружием, мог вступить на московскую службу и получить себе в пропитание землю, которую он мог сдать в аренду свободным тогда землепашцам. Семейная легенда гласит, что в 1440 году, приблизительно, при московском великом князе Василии Темном, спасаясь от каких-то гонений в Орде, выбежал на Москву Лев Турген, татарский мурза. Татарин попросился на московскую службу и принес клятву на верность. Татарина приняли, окрестили и нарекли православным Иваном, причем, прибавляет легенда, восприемником при крещении стоял сам князь Василий, который тут же пожаловал крестника многими землями на опасной южной Украине, таким образом предназначив татарину порубежную службу против татар.

Случалось, наши служилые татары возвращались в Орду, однако Тургеневы прижились, обрусели, как у нас издавна повелось с инородцами, и пустили корни в русскую землю. Они продолжали служить ни шатко ни валко, числились по второму разряду московского дворянского списка, не поднимаясь до высших, но и не опускаясь до низших мест и чинов, в столетиях XVI и XVII были стольниками и стряпчими, водили московские полки против татар и против Литвы, сидели воеводами в Рыльске, в Каргополе, в Калуге, в Муроме, в Саратове, в Царицыне, в Туле, в Орле, бывали приставами при посольствах и дьяками второстепенных московских приказов, везде выказывая усердие, достойное служилого человека.

Петр Дмитрич Тургенев в 1551 году был послан грозным царем Иоанном к ногам с повелением остеречь хана от союза с Казанью, дипломатической изворотливости не обнаружил, «претерпел в орде от князя Юсуфа великое поругание и был ограблен», что с послами приключалось нередко, однако жизнь сохранил. Спустя года три, опираясь на отряд московских стрельцов, только что заведенных грозным царем Иоанном, он сумел убедить астраханского хана Дервиша перейти на московскую службу и остался при нем, чем заслужил доверие царя и великого князя, но не сумел добиться сколько-нибудь значительных милостей, на которые грозный царь Иоанн не скупился. Все же, когда грозный царь Иоанн повелел брать с неверных князей и бояр крестоцеловальные грамоты, которыми те обязывались служить

ему честно, без измен и побегов, Тургеневу было дозволено крест целовать и ручаться за князя Ивана Дмитрича Бельского, уличенного в преступном намерении переметнуться на службу к польскому королю Сигизмунду, и в том случае, ежели лицемерный князь таки убежит, обязался вместе с другими внести в казну десять тысяч тогдашних рублей, что свидетельствует о достаточном его состоянии.

В переменчивое Смутное время Петр Никитич Тургенев безоговорочно принял сомнительную версию Годунова о личности самозванца, Лжедмитрия обличил, как будто сказал: «Ты не сын царя Иоанна, а Гришка Отрепьев, беглый из монастыря, я тебя знаю», хотя откуда бы знать ему безвестного инока, и был за это казнен.

В 1670 году Тимофей Васильич Тургенев сидел воеводой в Царицыне. Когда разинский атаман Василий Ус крепость взял, воевода отказался сдаться на милость голоштанного победителя, но с родичем своим, с Матвеем Павловичем Тургеневым, со слугами, с десятком московских стрельцов и тремя горожанами заперся в башне, считавшейся неприступной. Вскоре в Царицын явился сам Степан Тимофеевич. Пир учинился по этому приятному случаю чрезвычайный, и в сильном хмелю разбойнички взяли приступом будто бы неприступную башню, после чего Тимофея Тургенева проткнули копьем и под пьяное улюлюканье бросили в Волгу.

Император Петр Алексеевич во всех сословиях выглядывал и возвышал одаренных людей, однако и при Петре Алексеевиче незадачливые Тургеневы далеко не пошли. Роман Семеныч Тургенев вступил в службу в самом начале тяжелой шведской войны, «был во многих походах, на акциях, штурмах и в партиях безотлучно», однако лишь четыре года спустя в Преображенский полк записан солдатом, спустя год дослужился до прапорщиков, три года выслуживал чин поручика, участвовал «в команде генерал-майора князя Волконского на генеральной баталии под Полтавой, где и ранен под левое плечо», за что возведен в чин поручика капитанского ранга, только шесть лет спустя довелось ему выйти в ротмистры и еще целых семь лет в премьер-майоры. В горькое время дворцовых переворотов гвардейские офицеры оказались в фаворе и в особой цене, и карьера Романа Семеныча двинулась побыстрей, он последовательно стал подполковником, капралом кавалергардов, в чине полковника управлял делами при штабе Апостола, гетмана Малороссии, и службу закончил обер-кригс-комиссаром армейской комиссии, на что ухлопал более тридцати лет, в течение которых так и не свершил ничего примечательного.

Алексей Романович, его сын, при Анне Иоанновне начал службу пажом, поручиком был выпущен в Углицкий пехотный полк, из-под Очакова ко двору был отправлен курьером, что ему сулило награду, однако ж был ранен в пути, захвачен турками в плен и продан басурманами в рабство, по обычаю варваров. Семейная память и тут сохранила фантастическую историю, которая любопытна прихотливой смесью вымысла и реальности:

«Алексей Романович Тургенев служил в пажах у императрицы Анны Иоанновны. По ревности Бирон удалил его, посла в армию, действовавшую тогда против турок, с приказанием его погубить. Он попался в плен и взят султаном в гарем, где подавал ему кофе и раскуривал трубку. Его принуждали принять магометанский закон, за что претерпел он много побоев».

Алексей Романович так, вероятно, и сгнил бы в турецком плену, да, как продолжает легенда, выручила его красота, которой неразборчивая природа пожаловала многих Тургеневых.

«Любимая султанша увидела его как-то, пленилась его красотой, сжалилась над ним, передала ему какими-то средствами наполненный кошелек с советом бежать в отечество, доставила ему вместе с этим проводника до границы. Мать его, женщина набожная, ежедневно молила бога перед образом святителя Николая о благополучном возвращении сына, с обетом поставить церковь. Однажды она молилась перед этим образом, внезапно отворяется дверь, и входит давно ожидаемый сын. Она исполнила обет, поставила церковь во имя святого Николая».

Впрочем, промысел Божий продолжал ему содействовать, и, благодаря его красоте, Алексей Романович скончался действительным статским советником.

Однако и с Божьим промыслом род Тургеневых клонился к упадку. В развратно-блистательный век Екатерины вперед выдвигались либо подвигами действительными, при Румянцеве или Потемкине, прославившими ее чудо-богатырей, либо презренным угодничеством, сомнительными достоинствами или прямиком применительно к подлости. Действительными подвигами Тургеневы не блистали, угодничать не умели, и Николай Алексеевич в четырнадцать лет государевой службы кое-как добрался до прапорщиков и с тем же чином вышел в отставку. Состояние у него понабралось приличное: он владел деревнями в Орловской и Тульской губерниях, да его супруга, Елизавета Петровна Апухтина, принесла в приданое деревни в Болховском и Мещерском уездах, так что в его руках сосредоточилось до двух тысяч душ.

Николай Алексеевич решился хозяйствовать на земле, на рубеже двух столетий довольно широко заложил усадьбу Тургенево, верст восемнадцать от Спасского, в течение двух трехлетий состоял предводителем дворянства Чернского уезда, хлопотался по делам, до него не касавшимся, собственное хозяйство как-то косо пошло, по крохам собранное богатство не удержалось в руках, раздробилось между пятью сыновьями и тремя дочерьми. Сыновья, как водится, хозяйство забросили вовсе, предпочитая кутить на даровые отцовские денежки, так что Сергей Николаевич своим двум сыновьям оставил всего сто тридцать сильно расстроенных душ, а его брат Николай в один прекрасный день очутился чуть не в приживалах у Варвары Петровны.

Сергей Николаевич родился в 1793 году, определился в гвардию семнадцати лет, русское офицерство, состоявшее из дворян, переживало свой последний блестящий период, юношей девятнадцати лет, как почти все его поколение, «был в походах и удела против неприятеля, в 1812 году в своих границах против французов во время сражений, июня 13-го и 14-го под Витебском, августа с 4-го по 7-е под Смоленском, 26-го под Бородином», где вел себя превосходно, «храбро врезался в неприятеля и поражал одного с неустрашимостью», был «ранен картечью в руку» и награжден «знаком отличия военного ордена», затем произведен в корнеты 21-го октября. В 1813 году Сергей Николаевич служил «в резервных эскадронах, формируемых генералом от кавалерии Кологривовым», где произведен в чин поручика.

Вокруг Кологривова, богатого барина и добрейшего генерала, при котором в то же время служил Александр Грибоедов, собралась молодежь, участники недавних кровопролитных боев, поклонники поэзии, вольнодумцы. Вольномыслие коснулось и Сергея Николаевича, волей случая попавшего в этот кружок. Он был умен, образован, то есть говорил по-французски и по-немецки, знал математику. В нем водился лишь один недостаток: он был слишком изнежен, превыше всего любил наслаждения, всякого рода проблемам бытия и общественного устройства предпочитал бездумную, легкую жизнь. Его портрет наводил многих на странные размышления:

«Он глядит еще юношей лет двадцати шести, хорош собой, и — странно — несмотря на удивительные черные глаза, смелые и мужественные, так и кажется, что это не мужчина, а дама или даже камелия, наряженная в белый конногвардейский мундир и в галстухе, который без всякого узелка или бантика обматывает ее белую лебединую шею, и так высоко, что слегка подпирает ей подбородок. Взгляд какой-то русалочий — светлый и загадочный; чувственные губы и едва заметная усмешка...»

В этой русалочьей красоте слышалось что-то ущербное, для мужчины нелестное. Такая красота нравится женщинам, особенно женщинам в возрасте, вроде любимой султанши, спасшей из плена Алексея Романовича, и Сергей Николаевич пользовался у них необычайным успехом. Одна немецкая принцесса говаривала, что более красивым, чем Сергей Николаевич, могла назвать только императора Александра Павловича, признанного красавца, а одна русская барыня признавалась, что однажды, оставшись наедине с ним, не успела заметить, как ему отдалась.

Нечего говорить, что Варвара Петровна полюбила его с первого взгляда. Ее любовь была безрассудной, как любовь всякой женщины на исходе брачного возраста, да еще наделенной воображением и расстроенными капризами нервами, напитанной любовными историями чувствительных французских романов. Сознывая, что ее круглое лицо, изрытое оспой, ее сутуловатая фигура, ее большие красные руки не идут ни в какое сравнение с этим изумительно-привлекательным девичьим лицом, обрамленным прекрасными вьющимися темно-русскими волосами, она попробовала очаровать юного гостя, которому не исполнилось и двадцати двух лет, своим действительно незаурядным умом и своими величественными манерами, которые, впрочем, так и разили затхлой провинцией. При одном его появлении внезапно воскресли в ее одиноком сердце едва ли не похороненные надежды, воротились романтические мечты. Ей почудилось вдруг, что вся жизнь еще впереди, что еще она может быть счастлива с этим красавцем, может любить, может быть и любимой, за одно это счастье она без раздумий готова была отдать свои миллионы.

Видавший виды поручик, не испытывавший недостатка в самых блестящих поклонницах своей красоты, и не думал влюбляться, не думал и жениться на некрасивой перезрелой девице, какие бы миллионы ему этот брак ни сулил, он лишь предполагал закупить у нее лошадей для полка. Однако Божий промысел, видно, парил и над ним. Передавали, что отец, Николай Алексеевич, узнав о богатой невесте, умолял сына жениться, в качестве главного аргумента поставив на вид, что кроме уже известных ста тридцати донельзя расстроенных душ ничего ему не оставит.

Поразмыслив над столь незавидной судьбой, которая впервые открылась ему, Сергей Николаевич доводы родителя принужден был признать справедливыми, к ним он хладнокровно прибавил свои: миллионы жены, даже перезрелой, некрасивой, безнадежно провинциальной, откроют перед ним возможности широчайшие на том соблазнительном поприще, на котором срывают цветы удовольствия, и сделал девице Лутовиновой

формальное предложение. Четырнадцатого января 1816 года они обвенчались в Орле. Бедный Воин Иванович Губарев оказался принужденным покинуть гостеприимное Спасское в своей обтерханной тележонке, горько сожалея, что потерял теплый угол и сытный кусок, проклиная тот день и час, когда несчастная девица нашла себе мужа.

Казалось, на Варвару Петровну повеяло счастьем, да ее счастье продолжалось недолго. Имея иные привычки, Сергей Николаевич на брачном ложе не задержался и, оставив супругу беременной, скоро отправился в полк для дальнейшего прохождения государевой службы и привольного проживания в первой столице. Нечаянная женитьба на лутовиновских миллионах изменила его судьбу кардинально. Безрадостные семейные отношения, в браках по расчету всегда неизбежные, развили в нем и без того развитую природную склонность к прелестям женского пола, случайное богатство отворило дорогу к наслаждениям разного рода. Эгоизм, в таких обстоятельствах разросшийся непомерно, сменил возвышающий пыл первой молодости и прежние симпатии задвинул на дно очерствелой души. Правда, прежние-то симпатии время от времени пробуждались, приподнимались наверх, но ненадолго, вновь затихая, не оставляя в его будничной жизни никакого следа.

До вынужденного вступления в брак он еще мог пойти с передовой молодежью, в среде которой у него имелись родственники, даже друзья, вследствие этого брака он превратился в прожигателя жизни. Состояние жены, неотразимая внешность, сила характера и впрямь скоро обеспечили ему приметное положение в обществе обеих столиц, его карьера помчалась вперед со скоростью тройки. Девятого августа 1817 года он произведен был в штаб-ротмистры, а уже через одиннадцать месяцев сделался ротмистром. В Петербурге он даром времени не терял, а в Орле или в Спасском появлялся только наездами, всякий раз оставляя на память ребенка. В 1816 году родился сын Николай, двадцать третьего октября 1818 года появился Иван, а тридцать первого октября в книге орловской церкви Бориса и Глеба протоиерей Яков сделал запись о его крещении в православную веру: «Капитана Сергея Тургенева жена Варвара Петровна родила сына Иоанна; восприемник генерал-майор Федор Семенович Уваров; крестил протоиерей Орлов с причтом». Спустя год дворовая девка родила от него сына, впоследствии ставшего Порфирием Кудряшовым. Еще двумя годами позднее у Варвары Петровны родился сын Сергей, неумный, болезненный, не жилец.

Варвара Петровна, продолжавшая, несмотря ни на что, любить его горячее, но темной любовью, не хотела смириться с беззаботным поведением долгожданного мужа: и лутовиновская натура требовала неограниченной власти над ним, и страдала уязвленная

женская гордость. Испытанная оголтелым деспотизмом родной матери, пьяного отчима и безоглядного дяди Ивана Ивановича, она умела постоять за себя, и Сергей Николаевич, по молодости лет, а больше из опасения неминуемых финансовых затруднений, в конце концов не мог не сделаться жертвой ее крутой, жестокой натуры. Она предложила ему воссоединиться с растущей семьей, он сделал вид, что не понимает ее. Она грубо сократила его содержание. Он присмирел. Под столь неотразимым давлением ему пришлось оставить конную гвардию и переместиться в армейский драгунский полк, из блестящего Петербурга переселиться в глухую провинцию. Он и не подозревал, что, женись по расчету, он закабалит себя безвозвратно. Понятное дело, он пробовал сопротивляться настояньям жены, поначалу церемонным и ласковым, и его переход от вольного житья в семейную кабалу проходил крайне медленно, а все-таки закончился кабалой.

Он женился в январе 1816 года и стал хорошо продвигаться по службе. Вскоре он сблизился с генерал-майором Уваровым, братом будущего министра народного просвещения, и пригласил его быть приемником сына Ивана. Под его началом Сергей Николаевич благоденствовал в конной гвардии, а когда Федор Семенович получил бригаду в Орле, он, пришпоренный Варварой Петровной, вынужден был обратиться к нему за содействием, и двадцатого октября 1819 года состоялся его перевод в Екатеринославский кирасирский полк, размещенный в Орле, с чином уже подполковника.

Супруги соединились, безвыездно поселились в Орле, их дом был открыт всей округе. Среди кирасиров обнаружилось немало бывших гвардейцев, разными обстоятельствами принужденных опуститься до армии, с чем они не желали смириться, бывшие буянили, кутили, напропалую развлекали свою гвардейскую пустоту, и Сергей Николаевич поначалу между них не скучал. Сибаритские наклонности окончательно победили его честолюбие, служебные обязанности стали его тяготить, к тому же он скоро сообразил, что с переходом из гвардии в армию его карьера сломлена навсегда, он вышел в отставку и получил на прощанье полковника.

Отставка была дана двадцатого февраля 1821 года, а по весне, как сошел снег и установились дороги, выехали обозом в деревню, на этом настояла Варвара Петровна: изначальная деревенская жительница, она Спасское, где она чувствовала себя полновластной хозяйкой, предпочитала всем городам, к тому же и Сергея Николаевича следовало, по ее глубокому убеждению, приструнить, увезти подальше от соблазна женщин, карт и вина, то есть от распутства и бесконечных долгов, которые он не стеснялся заводить

на ее счет и которые время от времени ей приходилось платить, чего она терпеть не могла. Делать нечего, малоимущий Сергей Николаевич покорился и вынужден был испробовать праведной жизни.

Впервые детскими, безмысленными глазами увидел Иван Сергеевич свою неказистую, неприютную родину, в те ее дни, когда вся природа только готовилась к пробуждению. Однообразная равнина тянулась по обочинам и с той, и с другой стороны, изрезанная оврагами, пересеченная перелесками, жидкими, обнаженными, грустными, как оборванные сироты под весенним смеющимся солнцем, под лучами которого бедность да бедность так и слепит глаза, между ними еще более грустные деревеньки с покрытыми соломой треугольными крышами, не всегда целыми, следствие голодной зимы. Одна усадьба оказалась красивой, даже величественной и скоро стала родной.

Варвара Петровна торжествовала. С того дня, как они здесь поселились, ее ветреный муж принадлежал только ей, правда, досаждали дворовые девки, которых Сергей Николаевич не оставлял своим барским мимолетным вниманием, да она умела их пристрожить, их бросало в дрожь от одного ее взгляда, а после того, как приبلудный Порфишка появился на свет, она придумала всем прелестницам наказание, надеясь хоть наказанием, бесчеловечным до зверства, их остеречь от греха: она запретила иметь детей при себе и тотчас ссылала младенцев в деревню.

Но и самые крутые меры в отношении этих мерзавок, как она их величала, ее не спасли, ее надеждам на семейное счастье не суждено было сбыться. Сергей Николаевич вполне отдавал должное Варваре Петровне, ее уму, ее образованности, ее хозяйственной хватке, благодаря которой ее состояние неустанно росло, несмотря на его разорительную привычку делать долги, отдавал должное даже ее французскому языку, а все-таки, с молодых ногтей избалованный благосклонностью самых блестящих столичных красавиц, не любил ее, некрасивую, быстро стареющую, крутую в обхождении с ним; когда он имел легкомыслие забываться и преступал границы приличий, тогда он испытывал на себе всю тяжесть ее деспотического характера и с холодным выражением на лице вовсе отстранялся от семейных обязанностей, пытаясь, коль скоро по ее воле потерял все свои развлечения, сохранить хотя бы свою независимость, до первого случая платить по долгам.

Под крышей большого богатого барского дома сошлись чужие, слишком разные, одинаково непреклонные люди, без взаимного понимания, без возможности понимать, без капли сердечности в обращении, без общих интересов и увлечений. Сергей Николаевич сделался

сух, холодно-вежлив, предупредителен той подчеркнутой предупредительностью, когда желают от себя отстранить неприятного собеседника, как и подобает человеку благовоспитанному вести себя в обществе, он же из оскорбленного самолюбия принял эту манеру дома, в семье, с женой и детьми. Он соблюдал приличия, как Варвара Петровна твердила ему в минуты своего раздражения, устранился от домашних забот и умудрялся жить в свое удовольствие даже в деревне. Он много охотился, заведя прекрасных собак, он устраивал театральные представления, он созывал ближних и дальних соседей, чтобы повеселиться по-своему, тонко пошутить над их деревенскими нравами и сразиться по-крупному в карты, единственное и всedневное их развлечение.

Все эти малости не могли занять его ум, тем более не истощали палящей жажды изысканных наслаждений. Чем больше Варвара Петровна стесняла его, тем нестерпимей жгла его эта жажда, пока наконец его единственной страстью не сделались женщины, и одной этой страсти он стал отдаваться вполне. Удовлетворение этой прилипчивой страсти требовало частых отлучек, и он изощрялся в предложениях, чтобы улизнуть из ее постылого дома, и, несмотря на все ее ухищрения, ускользал.

Варвара Петровна была достаточно проницательна, чтобы не заметить причины, по которой он от нее ускользал. Ей выпало минутное счастье, а расплачиваться приходилось бесконечным страданием, и она много страдала, теперь не только от одиночества, в котором очутилась при муже, но и от ревности, приступов которой легко не умела сносить, характер был чересчур самовластен и крут. Лутовиновская, непримиримая, эта ревность могла стать разрушительной, если бы не сдерживалась женской гордостью, которой Варвара Петровна оказалась наделена в высшей мере, да и Сергей Николаевич своей непроницаемой вежливостью умел ее ставить на место. Несчастливая женщина не смела давать волю своему деспотизму, не устраивала громких скандалов, не преследовала блудного мужа упреками, которые больше унижают женщину, чем оскорбляют мужчину. Иногда она пробовала злословить о той, в ком предполагала соперницу, но ее останавливала его убийственная ирония. Поразительно, что любовь ее не остывала, а делалась только сильнее. Она страдала от его безразличия, от его тайных измен. Ее душа замыкалась, черствела в одиночестве самого худшего свойства — в одиночестве покинутой женщины.

Немного времени протекло, как она догадалась, что он женился на ней ради денег, и это открытие, сделанное как-то само собой, в ее и без того корыстолюбивых глазах еще выше подняло цену и достоинство денег. Деньги окончательно все победили, в них она обрела свой

нетленный кумир, ей одни деньги остались на горькую долю, да еще безграничная власть над людьми. С удвоенной, с утроенной силой она вымещала на окружающих свою обманутую любовь, свою оскорбленную гордость и язвительную тоску одиночества. У нее в лексиконе явилось любимое слово: «Я в своих подданных властна и никому за них не отвечаю», что вполне отвечало российским законам, и над своими подданными она тешилась всласть.

Деспотизм всегда деспотизм, а с лутовиновским бешеным характером деспотизм неминуемо превращался в мстительную жестокость, в изуверство подчас. Барский дом был полон прислуги, лишенной каких бы то ни было прав, и Варвара Петровна с утра до вечера истязала служащих всех назначений и рангов такими капризами, каких невозможно было предугадать, и в случае ослушания повелевала сечь, и сечь беспощадно. Чем ближе стоял к ней человек, тем больше нравственных и физических пыток ему доставалось. Горничным она раз и навсегда запретила рожать. «Оно и точно не годится: пойдут дети, то, се, — ну, где ж тут горничной присмотреть за барыней как следует, наблюдать за ее привычками: ей уж не до того, у ней уж не то на уме». Добрая, тихая, чуть не умильная, когда перед ней раболепно склонялись, она сеяла милость щедрой рукой, она приближала к себе, она возносила, ставила выше других, да вдруг за пустяк ссылала в деревню заглазную на самую унижительную работу. Гибельное право владеть, бесконтрольно распоряжаться чужими судьбами при ее нетерпимом характере оборачивалось той главной, той гнусной несправедливостью, что безвинные люди терпели и отдувались за то, что ее личная, семейная жизнь не сложилась.

По странной лутовиновской логике гораздо больше других от ее деспотизма страдал ее Ванечка, любимейший сын.

Глава пятая

ДЕТСТВО БЕЗ ДЕТСТВА

Ему не минуло четырех лет, когда его сознание вдруг пробудилось. В начале 1822 года он тяжело заболел. Его смерть представлялась всем неизбежной, уже сняли мерку для гроба, чтобы времени зря не терять. Тогда Сергей Николаевич, увидав, что мальчику худо, приказал напоить его старым венгерским вином. Впоследствии в доме считалось бесповоротно, что именно вино буквально воскресило его. Может быть, еще больше вина помогли сердечные бабьи заботы Авдотьи Ивановны Губаревой, родной сестры безвинно удаленного Воина Ивановича с поста приживала. Авдотья Ивановна была при больном неотлучно, пока он

выздоровливал, и ребенок к ней привязался, «несмотря на многие ее не очень хорошие свойства». На радостях, когда ее милый Ванечка был уже на ногах, Варвара Петровна побарски отблагодарила бедную свою компаньонку: она подарила Авдотье Ивановне сто душ и вскоре выдала замуж за Сергея Петровича Логривова, человека неприятельного, не смевшего ей прекословить.

Чтобы окончательно поставить мальчика на ноги, его повезли за границу. Заодно Сергей Николаевич решился посоветоваться с кем-нибудь из европейских светил: у него явились первые признаки тяжелой болезни, неизбежное следствие безоглядных его наслаждений. А главное, он был человек подвижный, неугомонный, не имевший характера засидеться на месте, словно предвидел, что срок жизни ему отпущен недолгий. Он ехал развлечься, имея в то же время намерение пообтесать, поуспокоить жену, избавить себя от ее несносных провинциальных, прямо деревенских привычек.

В самом деле, Варвара Петровна двинулась в поход с основательностью старомосковской барыни времен тишайшего царя Алексея Михайловича. Поместительную семейную колымагу тащила четверка собственных, непременно караковых, лошадей. За колымагой следовал фургон с припасами и прислугой, чтобы вполне удовлетворялись привычки, нажитые в степной отдаленной усадьбе. Сергея Николаевича не могла не бесить эта медлительно кочующая деревня, зато по его настоянию непрестанно менялись города для кратких или долгих стоянок: Москва, Петербург, Рига, Берлин, Дрезден, Карлсбад, Цюрих, Берн, Базель, Шомон и Париж, в котором несколько позадержались, проведя в нем с полгода, чтобы Варвара Петровна имела возможность нашить уйму самых прихотливых нарядов, а Сергей Николаевич между визитами к докторам мог развлечься в толпе родных и знакомых, оказавшихся у него и в Париже.

У мальчика от первого далекого путешествия сохранилось ужасное впечатление.

Осматривали всем семейством известную бернскую яму, в которой для развлечения скучающей публики содержали медведей. Ванечка до того загляделся на невиданных добродушных зверей, что едва не свалился к ним в гости и заплатил бы жизнью за эту неосторожность, если бы в ту же минуту Сергей Николаевич не выхватил его буквально из лап смерти за ногу. Тем не менее, ужас, испытанный в Берне, застыл в его нетронутой детской душе на всю дальнейшую жизнь, тогда как все прочие впечатления долгого путешествия напрочь исчезли из памяти.

Однако Варвара Петровна уже не оставляла его без внимания, одинаково тяжелого и опасного для хрупкой, легко ранимой детской души. «Возвратившись в Спасское, семья Тургеневых зажила деревенской жизнью, той дворянской, медленной, просторной и мелкой жизнью, самая память о которой уже почти изгладилась в нынешнем поколении, — с обычной обстановкой гувернеров и учителей, швейцарцев и немцев, доморощенных дядек и крепостных нянек». Каждый божий день был неразличимо похож на другой, ничего нового не происходило вокруг, разве что гости наедут и вечером, при неровном свете немилосердно чадящих плошек, прямо в саду устроят театр. Большой мир как будто отсутствовал, единственно существовал крохотный тесный мирок села Спасского, мирок угрюмого, беспокойного барского дома. Не одно дарование поглотило стоячее болото никуда не идущей помещичьей жизни, не один гений в нем захлебнулся, так и не успев осознать, на что он рожден, что именно представляет он из себя. Так было и тут: у даровитого ребенка, медленно и скачками, кое-как пробудилось сознание, да пищи ему не нашлось никакой, до того решительно все в барском доме было обыденно, мелко, ничтожно, хоть криком кричи. Старший брат Николай так и вырос угрюмым помещиком, накопителем, ростовщиком, для которого, как и для Варвары Петровны, деньги застали свет. И милый Ванечка стал бы точно таким же, да Варвара Петровна любила его непостижимо-жаркой любовью, по странности которой любить означало подчинять своей жесткой воле, не позволять, строжить и мучить так, что белый свет становился не мил, оттого, может быть, и миновала его бледная судьба угрюмых помещиков, накопителей и ростовщиков и определилась совершенно иная судьба.

Варвара Петровна занималась его воспитанием «со всем стремительным рвением степной помещицы», может быть, от того, что в собственной жизни утратила все надежды на счастье и решила сделать счастливым милого Ванечку, то есть сделать его своим идолом, своим идеалом. Ради скорейшего превращения пятилетнего отрока в нечто нигде еще не бывалое, она с такой жестокостью, чуть не злобой муштровала его, что очень скоро он возненавидел всю эту «дворянскую медленную просторную и мелкую жизнь» до последней черты. Давно повзрослев, он признался в один из приступов откровенности:

— Мне нечем помянуть своего детства. Ни одного светлого воспоминания.

И откуда им было взяться? В доме не прерывалась ни на минуту скрытая, напряженная, отвратительная война, о которой знали, за которой следили решительно все, до последнего конюха. Варвара Петровна всю себя без остатка была готова отдать любимому мужу и в наказание за то, что он едва переносил ее притязания на взаимность, своих денег не

выпускала из рук и Сергея Николаевича ни на шаг не подпускала к хозяйству, уже этим полным запретом стремясь унижить его, оскорбить. Не с ним — с конторщиком Львом Лобановым, которого именовала Леоном, вела она все дела. Только она распоряжалась каждым рублем из десятков и сотен тысяч рублей, которые в течение года вырабатывали две тысячи крепостных, без ее ведома ни один человек не имел права потратить хотя бы копейку. Деньги были ее привилегией, они заменяли ей боевое оружие, и каждый день она упорно, расчетливо вострила его против неверного, непокорного мужа, как охотник, терпеливо поджидая добычу, чтобы вернее настичь и поразить.

И дожидалась всегда: время от времени он входил в ее кабинет со своими долгами. Тогда они запирались надолго. Весь дом замирал и со страхом прислушивался к ее громовым раскатам, опасаясь попасть ей под горячую и потому беспощадную руку, когда ее рука бывала особенно тяжела. Она злорадно и с наслаждением корила его постыдным разорением всего семейства Тургеневых, его собственной бедностью, его неумением жить, то есть неумением приумножать и копить. Она выговаривала ему за его расточительность, за удовольствия не по средствам и наконец открыто упрекала в неверности. Он сдерживал себя сколько мог, оправдывался, вспыхивал, напоминал ей ее наружность, ее преклонные лета. Она с безгливой миной выслушивала его и с оскорбительной небрежностью выбрасывала кредитные билеты из своего секретера. Он брал деньги и удалялся с презрением на красивом лице, холодный и неприступный, не покорившийся ей. Она оставалась рыдать, порой на всю ночь, наутро приходила в себя, еще глубже затаивала обиду и с новой яростью бросалась ковать на него свой нержавеющей меч.

Немудрено, что желала она лишь одного: чтобы любимый Ванечка не единой чертой не походил на отца. Для него идеалом мужчины она поставила дядю Ивана Ивановича, видимо, позабыв, каких мук сама натерпелась от его оголтелого деспотизма. Ее Ванечка должен был вырасти таким же, как тот: властным, сдержанным, холодным и гордым. Она рассказывала и пересказывала историю дядиной жизни, не замечая, что не для Ванечки, а для себя взяла ее образцом. Ей нравилось в покойном дяде особенно то, что он ответа ни перед кем не держал, что и на своего брата-помещика глядел свысока, что осаживал всякого, кто дерзал ему возразить, говоря негромко сквозь зубы: «Плаваешь мелко». Такую независимость характера, духа жаждала воспитать она в сыне, и вместе с ней светскость — светскость, может быть, прежде всего. Только тогда будущее улыбнется ему всеобщим уважением и прекрасной карьерой, только тогда в его светлом будущем не заведется девок и карт. Портрет дяди был

повешен в гостиной на почетное место. Когда водили Ванечку сечь, Варвара Петровна останавливала его перед этим портретом и торжественно объявляла:

— Он тебя еще бы не так!

С портрета однообразно, строго и холодно глядел человек в пудреном парике, с сухим неприветным лицом и тонкими губами великого сластолюбца. Воображение, унаследованное от склонной к мечтаньям маменьки, тут же принималось рисовать всевозможные истязания, которым подверг бы его этот старик, сам знаешь, за что, как любила она в таких случаях повторять. При мысли об этом его обдавал такой ужас, что он привык обходить гостиную стороной, лишь бы не встречать страшного старика в пудреном парике и французском камзоле, на котором точно горели пятнышки стразовых пуговиц.

Привычка неограниченной власти над всеми, даже над мужем, и самолюбие обездоленной женщины не позволяли Варваре Петровне снизойти до того, чтобы задуматься, что творилось в душе ее непослушного Ванечки, к чему он призван, чего сам он хотел. Она желала ему только добра, извечное заблуждение всех матерей, стало быть, он должен ей покориться. Она и представить себе не могла, что ее любимцу как раз не дано того самого малопочтенного свойства, чтобы характером и повадками с течением времени вылиться в дядю: эгоизма ему не хватало, и было в нем слишком много той несмолкаемой жажды любви, которая стонала и плакала в несчастной душе самой Варвары Петровны. Он к ней тянулся, он ждал от нее ласки, тепла, как она когда-то ждала, а в ответ получал только окрик и розгу.

Больше всего ему доставалось за то, что он оказывался не по возрасту наблюдателен и умен, а еще он был чистосердечен, наивен, доверчив и добр и никак не мог попасть в тон холодной рассудочности, который она поставила себе за благо в нем воспитать. Его большая голова и серьезный взгляд серых глаз не вязались с его маленьким тельцем. Его замечания отличались меткой оригинальностью. В окружающем мире он видел вовсе не то, что видела маменька и повелевала видеть ему. Она же в его замечаниях находила одну непокорность, которой ни от кого терпеть не могла, и стремилась искоренить ее как можно раньше и как можно скорей.

Ему было лет шесть или семь, когда его представили почтенному старцу, перед которым все склонялись в благоговейном молчании. Ему сказали, что это сочинитель Иван Иванович Дмитриев и приказали продекламировать что-нибудь из его сочинений. Он и

продекламировал довольно сносно одну из его многочисленных басен, однако к ужасу маменьки тут же и брякнул почтенному старцу прямо в глаза:

— Твои басни хороши, а Ивана Андреевича Крылова гораздо лучше.

Иван Иванович Дмитриев был, точно, поэт, но и министр, так что Варвара Петровна сгорела перед ним от стыда и в бешенстве высекла преступившего приличия сына, тогда как сын не в состоянии был понять причин ее гнева: басни Ивана Андреевича Крылова в самом деле нравились ему больше, чем басни этого старика, и уж вовсе не могло уложиться в его большой голове, для чего вместо правды он должен был сказать приятную маменьке ложь.

В другой раз его из неведомой надобности повезли к почтенной, ветхой старухе, светлейшей княгине Екатерине Ильинишне Голенищевой-Кутузовой-Смоленской, в своем странном, едва ли не допотопном чепце напоминавшей икону неизвестной святой плохого письма, окруженной таким благоговейным почтением, что вокруг нее было принято изъясняться лишь шепотом, однако милый Ванечка скорее был изумлен, чем проникнут почтением, и очень громко выразил именно то, что видел перед собой:

— Ты совсем похожа на обезьяну.

Как на грех, ветхозаветная старуха оказалась урожденная Бибикова, и Варвара Петровна через своего опекуна Илью Богданыча Бибикова находилась с ней хоть и в дальнем, но чрезвычайно важном родстве, отчего и ярость ее была несказанна, так что милого Ванечку снова было приказано сечь, сечь и сечь.

Впрочем, надо правду сказать, не все его выходки непременно оканчивались непонятно-болезненно и обидно. Как-то раз в доме обедали гости, люди явным образом праздные, и за столом завелась речь о том, каким таким именем следует правильно нечистого величать: сатаной, Мефистофелем или Вельзевулом? Милый Ванечка подал свой голос и тут:

— А я знаю, как его зовут!

Варвара Петровна воскликнула, бросив на него подобно молнии прожигающий взгляд:

— Ты знаешь?

Розги ничему не учили его, и он твердо сказал:

— Да, я знаю.

Ее лицо стало строгим, но она поощрила его с тем натянутым смехом, каким взрослые смеются над невинными шалостями любимых детей:

— Так скажи.

Он был искренен и правдив и потому громко, уверенно провозгласил:

— Его зовут Мем!

Она искренне удивилась:

— Мем? Но почему?

Он слышал, как поп призывает: «вонмем», то есть: «слушайте», чего никто и не подумал ему разъяснить, приводя его в церковь каждое воскресенье, и ответил все так же значительно-громко:

— За обедней говорят: «вон Мем», я думаю, это дьявола изгоняют из церкви.

Гости маменьки так и упали от хохота. Варвара Петровна смутилась и не наказала его на этот раз, уместно прибавить, потому что имела привычку наказывать его всякий день, нередко из собственных рук. Полиция, которую она по примеру великого дяди Ивана Ивановича завела у себя, трудилась исправно, старательно отработывая свой легкий хлеб. Разумеется, главным предметом ее пристального внимания были дворовые, всегда развращенные, пьющие, нечистые на руку, однако нередко доставалось и милому Ванечке, который был настолько доверчив, настолько чист в невинных своих побуждениях, что обыкновенно не понимал вины за собой.

«Раз одна приживалка, уже старая, бог ее знает, что она за мной подглядела, донесла на меня моей матери. Мать без всякого суда и расправы тотчас же начала меня сечь, — секла собственными руками, и на все мои мольбы сказать, за что меня наказывают, приговаривала: «сам знаешь, сам должен знать, сам догадайся, за что я секу тебя».

Тем не менее, милый Ванечка не понимал ничего. Варвара Петровна отложила порку, кажется, лишь с наступлением ночи, однако наутро вновь принялась за него, требуя чистосердечного признания в преступлении, о котором он не знал ничего, негодуя за его

сугубую непокорность. На третий день истязание повторилось с неослабевающей силой. От страха и боли им овладело отчаяние. Он решился бежать.

«Я уже встал, потихоньку оделся и в потемках пробирался коридором в сени. Не знаю сам, куда я хотел бежать, — только чувствовал, что надо убежать и убежать так, чтобы не нашли, и что это единственное мое спасение. Я крался, как вор, тяжело дыша и вздрагивая. Как вдруг в коридоре появилась зажженная свечка, и я к ужасу моему увидел, что ко мне кто-то приближается, — это был немец, учитель мой. Он поймал меня за руку, очень удивился и стал меня допрашивать. «Я хочу бежать», — сказал я и залился слезами. — «Как, куда бежать?» — «Куда глаза глядят». — «Зачем?» — «А затем, что меня секут, а я не знаю, за что секут». — «Не знаете?» — «Клянусь Богом, не знаю!» — Тут добрый старик обласкал меня, обнял и дал мне слово, что больше наказывать меня не будут. На другой день утром он постучался в комнату моей матери и о чем-то долго с ней наедине беседовал. Меня оставили в покое».

Оставили, разумеется, ненадолго. Вся его детская жизнь была отравлена неминуемым наказанием, ожиданием наказания, ожиданием порицания, окрика, розги, причем Варвара Петровна любила сечь сына сама. Что он ни делал, наказание грозило за все. Даже всегдашние детские игры, которые для ребенка есть его жизнь, были расписаны заботливой маменькой по часам, так что было строго-настрого определено, когда он имел право посидеть с удочкой у пруда и когда наступало время играть в оловянных солдатиков. Его птиц посадили в отдельную комнату и пускали к ним лишь в назначенный час. Даже голубей перед домом он должен был кормить по звонку.

Рано, слишком уж рано, ощутил он на себе тупую власть независимых от нас обстоятельств. Эта власть давила бессмысленно, бессердечно, не спрашивая вины, не добиваясь заслуг. Она душила беспомощного ребенка просто так, единственно оттого, что она была власть, а он бессилён был перед ней. Одним усилием, одним ударом сбросить ее жестокое иго было нельзя, и он вынужден был покоряться, покоряться, разумеется, внешне, склонять голову перед ней, признавать ее неизбежность, однако в его душе пробуждались какие-то темные силы, без названия, без образа, без вкуса и запаха, которые не позволяли поддаваться ее безумному деспотизму, внутренне он оставался свободным, несмотря ни на что, — то укрываясь в одной из многочисленных комнат большого барского дома, то убегая в парк и на пруд, когда маменьке бывало не до него. Она разделялась с делами, с заботами, вспоминала о нем, повелевала отыскать, привести, и ему приходилось убеждать на

собственной шкуре, что за свободу необходимо платить, и платить не гроши, но высокую, подчас очень высокую цену.

Как ни холоден был Сергей Николаевич в жизни семейной, а не проходило и мимо него, каково достается его среднему сыну. Тем не менее, отец оставался к нему безучастен, рассуждая обыкновенно: если прикрикивают, если наказывают, если розог дают, стало быть, кругом виноват, впрочем, на то и мать у него, ее обязанность печься о воспитании да судить об его прегрешениях. Сам он был с детьми неприветлив и строг и не допускал их до себя. Утром и вечером, если он бывал дома, они молча и с трепетом вступали в его кабинет, желали ему доброго утра или доброго сна, он же, ни о чем не спросив, протягивал им свою руку, они, так же молча, целовали ее и выходили из кабинета гуськом. В иные часы им запрещалось не то что входить в его кабинет, а даже мимо его дверей проходить.

Между тем как раз средний сын обожал отца со всей силой неразделенной мальчишеской страсти. Отец был его бог. Он был влюблен в его легкую, стремительную походку военного, в его стройную, породистую фигуру, в его изящные, безукоризненные манеры, в его умное, равнодушное или презрительное лицо. Отец представлялся ему настоящим мужчиной, он вырасти мечтал таким же, как он, а не как строгий дядя в пудреном парике, и тяжело страдал от его небрежного, непонятного равнодушия. Для него была праздником одна минута внимания с его стороны, за другую такую минуту он бы отдал все сокровища мира. Но они, эти минуты, повторялись так редко и ничего не могли изменить. Оставалась загадка, кто был его отец, как отец относился к нему и как он сам относился к отцу. Над этой темной загадкой он ломал голову в детстве и долго потом, когда вырос и начал писать.

«Странное влияние имел на меня отец — и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу — он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мной... Только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины — и, боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если бы я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась — я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником... Потом он так же внезапно покидал меня — и рука его опять отклоняла меня, ласково и мягко, но отклоняла. На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик, он любил всякое сильное телесное движение; раз — всего только раз! — он

приласкал меня с такой нежностью, что я чуть не заплакал. Но и веселость его и нежность исчезали без следа — и то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее, точно я все это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо... сердце мое задрожит, и все существо мое устремится к нему... он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке — и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда неожиданно...»

Между тем, кроме родителей, в барском доме не было, не могло быть сердечно близких людей. Встречи с детьми сельских помещиков, приезжавшими в гости вместе с папеньками и маменьками, бывали редки, случайны, крестьянских детей, само собой, на пушечный выстрел не допускали до барчука. Наблюдательному, умному, одинокому, глубоко оскорбленному мальчику было необходимо пожаловаться хоть кому-нибудь, излить обиды, поделиться фантазиями, высказать чувства, возбуждаемые в детской душе таким чужим, таким странным миром, который начинал он воспринимать и осознавать, но во всем большом барском доме долго не находилось того, кто захотел бы послушать его, еще бы лучше его приласкать и высказать ему свое дружеское участие.

Несмотря на воспитательные розги решительной маменьки, может быть, благодаря им, он был предоставлен себе самому и захлебывался, как в глубоком пруду, в одиночестве, неестественном для ребенка. Одиночество стало страданием, мукой сердечной, суровым его воспитателем. Хуже всего бывало зимой, которую он невзлюбил да так и не смог полюбить и позднее, во всю свою жизнь. В холодную зимнюю пору, когда усадьба, случалось, стояла по самые окна в снегу, его нужда заставляла целыми днями высидеть дома. В свободное время, предусмотренное в расписании маменьки Варвары Петровны, он бесцельно бродил из комнаты в комнату, благо в громадном доме дяди Ивана Ивановича их было не менее двадцати, а долгими вечерами ютился где-нибудь в уголке, лишь бы подалее от строгих глаз всегда сердитой, всегда неприветливой маменьки, глядел прямо перед собой или в дымное мерцание дешевых сальных свечей, которые Варвара Петровна приказывала зажигать из экономии в будни, и фантастические образы рождались в зыбком ребячьем мозгу и невидимо плыли куда-то, или невинную душу теснили полужелания, смысл которых еще не улавливался неопытным детским сознанием, или пугающе манил таинственный мрак, клубившийся в неосвещенных углах. Хотелось поведать кому-то об этих легко и быстро ускользающих образах, обсудить полужелания или хотя бы указать на дымные пики оплывших свечей,

которые было пора обрезать, но он уже по горькому опыту знал, что для его же блага лучше было молчать, чтобы как-нибудь не накликать всегда внезапный, всегда непостижимый родительский гнев.

В бесконечные зимние вечера званые и незваные гости были единственной отрадой для него и, как он приметил, для маменьки Варвары Петровны: было кого, по крайней мере, послушать. Иногда по старой памяти заворачивал на огонек толстый, приветливый Губарев. Вскоре Ванечка разглядел его странность и полюбил бобыля, почуя, должно быть, что Воин Иванович был одинок, как и он.

«Я до сих пор помню его почти постоянный, громкий и холодный смех, его развязные, слегка цинические суждения и выходки. Уже одна его наружность осуждала его на одинокую и независимую жизнь: это был человек весьма собой некрасивый, толстый, с огромной головой и рябинами по всему лицу. Долгое пребывание в провинции положило наконец свою печать, но он остался «типом» до конца и до конца под бедным казакином бедного дворянина, носящего дома смазные сапоги, сохранил свободу и даже изящество манер».

Наведывался в Спасское генерал Федор Семеныч Уваров, крестивший его, из сельца Шаблыкина Карачевского уезда наезжал Николай Васильевич Киреевский, богатый помещик, охотник заядлый, собачник, с Сергеем Николаевичем служивший в Кавалергардском полку, тоже вышедший, побуждаемый врожденным эпикуреизмом, в отставку от роду двадцати четырех лет, живший в своем имении независимым барином и хлебосолом истинно русским, то есть до последнего огурца. К этой компании присоединялся дядя Николай Николаевич. Однополчане, как водится, менялись воспоминаниями. С любовью и грустью передавались подробности атак под Смоленском и Витебском, стояние на смерть при кровавом, но героическом Бородине, веселые истории победоносных заграничных походов, «анекдоты из доброго старого времени 12-го года», как называл их Толстой, специально приезжавший к Киреевскому, давно постаревшему, чтобы послушаться славных историй все еще бодрого ветерана. Что же говорить о затиснутом в бескрайнее одиночество Ванечке! Точно на праздник переносил его тогда какой-нибудь добрый джинн. Особенно поражало его, что в их рассказах героическое, смертельно опасное мешалось с комическим. Он помнил эти истории наизусть и потом в кругу друзей вспоминал:

«Один русский генерал, после двух атак, отбитых засевшими на кладбище французами, приказал своим солдатам перебросить его через ограду. Тургенев просил самого генерала, мужчину весьма тучного, рассказать, как все это было. И вот что рассказал ему генерал.

Упав прямо в лужу, он некоторое время безуспешно пытался встать на ноги, но снова и снова падал, вскрикивая при этом: «Урра!» За ним наблюдал какой-то француз-пехотинец, однако не стрелял, а только смеялся и восклицал: «Эх ты, толстый боров, толстый боров!» Но генеральские «Урра!» были услышаны, подняли боевой дух русских, и те поспешили перелезть через ограду на выручку своему начальнику; французы вскоре были вытеснены с кладбища».

К несчастью, сходки ветеранов случались нечасто. Куда чаще Сергей Николаевич сам отправлялся к кому-нибудь в гости или закатывался в Шаблыкино, где охотился напропалую по нескольку дней. Тогда милый Ванечка оставался на растерзание маменьки Варвары Петровны, тяжело страдавшей от ревности и потому вдвойне опасной и буйной, так весь дом замирал и дворовые слуги прятались кто куда, лишь бы не попадаться гневливой барыне на глаза.

Немудрено, что от природы привязчивый, добрый, милый Ванечка рос упрямым, злым и угрюмым мальчишкой. Он ненавидел все то, что окружало его, он искал и не находил выхода из своего несносного положения. Во спасенье ему Спасское хоть и вышло из повелительных рук дяди Ивана Ивановича не очень красивым, зато при нем разросся старый, умело запущенный сад, и летними днями он удирает под его вековые деревья и там оживал. Природа становилась его лучшим, его единственным другом. В живописных зарослях парка некого было остерегаться, не надо было ежеминутно бывать начеку. Под весело бормотавшими кронами старых деревьев он освобождался от страха, в зарослях орешников и сиреней он был свободен и всем своим существом отдавался чарующей прелести неяркого, но поэтичного русского лета.

«Он вспоминает, что однажды, после того как гувернер — не знаю, за какой проступок, — хорошенько отчитал его, а затем выпорол и оставил без обеда, он ходил по саду и с каким-то горьким наслаждением глотал соленую влагу, которая стекала по его щекам в уголки рта. Он говорит затем о сладостных часах его юности, когда, растянувшись на траве, он вслушивался в шорохи земли, о настороженной чуткости к окружающему, когда он всем своим существом уходил в мечтательное созерцание природы, — это состояние не описать словами. Он рассказывает нам о своей любимой собаке, которая словно разделяла его настроение и в минуты, когда он предавался меланхолии, неожиданно испускала тяжкий вздох; однажды вечером Тургенев стоял на берегу пруда и его внезапно охватил какой-то неизъяснимый ужас, собака кинулась ему под ноги, как будто испытывая такое же чувство...»

Затаившись где-нибудь на опушке от надзора маменьки и ее вездесущих шпионов или укрывшись в зеленом омуте парка, который казался ему бесконечным, он попадал в другой, причудливый, поразительный, неизменно добрый, отзывчивый мир, ошеломлявший обилием запахов, красок, звенящий голосами насекомых и птиц, самые имена которых пока что были ему неизвестны. Какой простор открывался для наблюдений! С какой неизъяснимой радостью подмечал он каждый шорох, каждый вздох этой неведомой, неразгаданной жизни! Он забывал начисто, напрочь о существовании деспотической маменьки, равнодушного отца, подобострастно-мелочных, гнусно-придирчивых гувернеров и дядек. Он погружался в мир природы, вливавшейся в его душу так поэтично, так человечески-просто, его душа наполнялась ощущением полного счастья, казавшегося при первом, неизбежно поверхностном взгляде ребенка явным образом неземного происхождения. Под сенью величественно-спокойных деревьев, под навевающий покой гомон насекомых и птиц, на мягком сиденье из трав само собой мечталось о подвигах, о невероятных свершениях, о жизни красивой и яркой, однако ж приходилось возвращаться домой, а дома уже вымачивалась в кадке с водой вполне реальная розга за малейшую шалость, за малейшее отступление от правил, начертанных маменькой, готовая обрушиться на него.

Глава шестая

ВОЗМОЖНОСТЬ СПАСЕНИЯ

Пока что милому Ванечке не дано было знать, что он, помимо воли своей, платит жестокую цену за то, чтобы не закоснеть в общей колее уродливо сложившейся помещичьей жизни. Его предки веками жили помещиками, им без слов и с низким поклоном должно было повиноваться все, что их окружало, начиная с детей, кончая последним оборванным пастухом, до единого все они считали свою безграничную, бесконтрольную, беспрекословную власть над людьми и нормальной, и справедливой.

Этот прочнее прочного сложившийся мир жестокости и насилия милый Ванечка рано возненавидел благодаря розгам маменьки и отчуждению отца, на первых порах инстинктивно, от страха и боли, повинувшись чувству самосохранения, самозащиты, впоследствии его ненависть все более и более становилась сознательной. В бессердечной школе беспроблемного раннего одиночества, безвинных мучений и ненависти тяжелой, непосильной для детства он учился размышлять, заглядывать в те сумрачные, сумеречные глубины бытия, в которые ему было рано заглядывать, в этой школе утончалась и ширилась его

наблюдательность, потому что приходилось напряженно следить за каждым шагом, каждым словом вспыльчивой маменьки, за каждым жестом холодно-вежливого отца, прежде всего из животного страха навлечь на себя непонятное, непосильное наказание.

Сдавленный страхом, его детский ум привыкал сдерживать чувства, вечно готовые толкнуть к безоглядным поступкам. Он слишком рано обстоятельствами был принужден считаться только с реальностью, убедившись на опыте, во что обходится склонность предаваться сладким, куда-то ввысь и вдаль манящим фантазиям, которые спасали его от унижительного страха реальности. Но тот же страх, та же необходимость считаться с реальным миром жестокости и насилия рождала в нем скрытность, убивала энергию, принуждала, столкнувшись с противодействием, искать обходных, безопасных путей для достижения поставленной цели. Лавина доносов, наказаний, обид обращала его слезами затуманенный взгляд внутрь себя, поощряя самоанализ, самосознание, однако и позволяла любить себя больше, чем повелевает природа, потому что никто другой его не любил.

Зато он привыкал в любых обстоятельствах оставаться свободным. Вопреки брани и розгам, он продолжал делать то, что ему нравилось, что развлекало его. Говорить, читать и писать ему было велено исключительно на французском, чужом языке — он русской грамоте выучился тайком у отцовского камердинера. Ему ставили в пример, в образец подражания высокомерную сухость дяди Ивана Ивановича, изувера и деспота, — он оставался добрым и мягким и часто погружался в ласкающий сон наяву, в сладкий бред своих фантастических вымыслов, в которых не могло быть и не было зла. Ему внушали барское презрение к стихоплетам и стихоплетству — он рано влюбился в поэзию до немого восторга. В большой библиотеке ненавистного дяди от него запирали шкафы с русскими книгами — он решился взламывать их с одним из дворовых и поспешно уносил в свою комнату то, что под руку попадало на ощупь и наспех.

И первыми, кто облегчал ему тяготы несуразного детства, были дворовые люди, которых, по убеждению маменьки, он должен был презирать. У Варвары Петровны дворовых заведено было множество, на самых разнообразных, чуть не фантастических должностях, на все случаи и потребности жизни: садоводы, охотники, рыбаки, конюхи, псары, сторожа. Для этих людей неяркая природа полустепной полосы была естественным домом. Они охотно учили внимательного привязчивого барчонка различать голоса птиц, объясняли их повадки и хитрости, помогали делать силки, ставить петли, обнаруживать норы и гнезда. Не отец, заядлый охотник, а старый, добродушно смеющийся сторож впервые дал ему в руки ружье.

По его указаньям, а не по указаньям отца, он долго, старательно целясь, застрелил первую в своей жизни ворону. Дворовый человек внушил ему любовь к поэзии и к удивительно богатому, звучному русскому языку.

Это был такой же безвинный страдалец, как он. Звали его Лев Яковлевич Серебряков. В свое время он принадлежал Аргамаковым и в качестве наследства перешел от них к Варваре Петровне. По завещанию бывшей владелицы он получал вольную, однако крутая наследница утаила ее, о чем Серебряков, должно быть, догадывался и молча ненавидел свою госпожу. По натуре он был легким, вежливым, стихоплетом, с склонностью к возвышенной речи, к старинной русской поэзии, но когда ему вспоминалась обида несправедливости, нанесенная Варварой Петровной, он становился непокорным, строптивым, может быть, преднамеренно вызывая гнев своей госпожи, точно сказать ей хотел, что человек он свободный и сам по себе.

Вот с ним-то милый Ванечка и прокрался в запретное хранилище книг. Вдвоем взломали они один из строго молчавших дубовых шкафов, похитили две самые толстые книги, их важным видом измерив их занимательность, и по-братски поделили между собой. Добыча милого Ванечки оказалась курьезным сочинением Максимовича-Амбодика «Эмблемы и символы». Оно чуть не свело ребенка с ума. Он перелистывал его в течение дня, улущая минутку в строгом расписании Варвары Петровны. На каждой странице он обнаруживал непостижимо-странный рисунок, под каждым рисунком стояла загадочная, но краткая подпись: рыкающий лев знаменует великую силу, арап, едущий на единороге, знаменует коварный умысел. Он заснул с тучей смутных слов и таинственных образов в голове. Позднее он вспоминал:

«Досталось же мне ночью! Единороги, арапы, цари, солнца, пирамиды, мечи, змеи вихрем крутились в моей бедной головушке; я сам попадал в эмблемы, сам «знаменовал» — освещался солнцем, повергался в мрак, сидел на дереве, сидел в яме, сидел в облаках, сидел на колокольне и со всем моим сидением, лежанием, беганием и стоянием чуть не схватил горячки. Человек пришел меня будить, а я чуть-чуть его не спросил: «Ты что за эмблема?» С тех пор я бегал «Книги эмблем» пуще черта».

На долю Серебрякова выпала «Россиада», героическая поэма, составленная туманно-трескучими виршами покойным пиитой Михайлом Херасковым, такими напыщенными, такими холодными, что представлялись диковатыми непривычному уху, загадочное творение российского классицизма блистательного, но пошлого восемнадцатого столетия. Кое-как придя в себя от символов и эмблем, милый Ванечка несколько часов поджидал, когда Лев Яковлевич улущит минутку и явится с увесистым томом под мышкой на место свидания.

Наконец тот появился. Оба с таинственным видом удалились в самую глушь им на счастье обширного парка, где их никто не мог отыскать и застать врасплох за их необыкновенным занятием.

Усевшись на сухой и гладкой траве, Серебряков не без торжественности раскрыл пахнувший пылью и плесенью фолиант. Милый Ванечка заглядывал в его серьезное, сосредоточенное лицо с ожиданием, с трепетом нетерпения. Вдруг раздались первые звуки. Все вокруг отступило, стало далеким, будто призрачной дымкой заволочлось. Он весь превратился в слух. Серебряков тихонько жужжал, вполголоса, для одного себя бормоча каждый стих, потом торжественно, как опьянелый, выкрикивал его по-настоящему, набело, как он пояснил, и вскакивал вдруг, воздев в исступлении руку, а милый Ванечка слушал, внимал, глотал, пожирал и давился, впитывая в себя каждый раскатисто дрящущийся звук. Даже руки и ноги у него холодели. Серебряков иногда останавливался в изнеможении изумления и восторженно произносил:

— Да-а-а, Херасков — тот спуску не даст. Иной раз такой выдвинет стишок — зашибет. Только держись! Ты его постигнуть желаешь, а он — вон где — и трубит, и трубит, как кимвалон! Зато уж имя ему дано — одно слово: Херрасков!

«Леон был человек вежливый и предлагал мне книгу — но я отказывался. Читать скороговоркой я мог не хуже его, но я не надеялся достигнуть торжественности его возгласов. Притом же он несколько говорил в нос, что в то время, особенно при произношении буквы О, мне весьма нравилось — и пел на крылосе чахоточным тенором».

Милый Ванечка одинаково восхищался и чахоточным тенором, и непостижимой возвышенностью тяжеловесного классического стиха. При первых же звуках принималось лихорадочно работать воображение, все нервы бывали напряжены, внимание не знало усталости. Так они прошли Ломоносова, Сумарокова, Кантемира и добрались до Державина. Тут милого Ванечку окончательно покорило громогласие и громозвучие классицизма. Прекрасный идеал гражданственности, общего блага никак не совпадал с прозаическими буднями сонливой барской усадьбы, погруженной в мелкие склоки уязвленного эгоизма, и он с ощущением праздника уносился в удивительный мир возвышенных подвигов на благо отечества, сплетавшийся странным образом с нечаянно подслушанными воспоминаниями полковника Сергея Тургенева, его родного отца, генерала Уварова и отставного капитана Киреевского. Между тем, крепостной педагог не ограничивался одним чтением начерно и набело, но снабжал едва постигаемый текст пояснительным комментарием в

демократическом духе угнетенного человека, и не покорившийся раб в Державине сурово порицал царедворца, ибо царедворец в поэте, по его убеждению, сильно мешал высокому бряцанию лиры, и зачарованный Ванечка вместе с классическими стихами принимал и эту смелую философию независимости, проникаясь еще большим уважением к поэзии и к независимым, свободным поэтам, каким внезапно в иные минуты начинал ощущать и себя.

Правда, маменька Варвара Петровна, видевшая его в будущем человеком исключительно светским, не уставала внушать, что всякий сочинитель либо пьяница, либо набитый дурак. После чтений в таинственных дебрях молчаливого парка или в камышах, окаймляющих пруд, ее слова в его сознании звучали кощунством. Сделаться поэтом он почитал за великое счастье. Тайком от нее он сам принялся за бряцанье на лире, однако лира его еще была не готова, она издавала одни нестройные звуки, которые резали ухо, принуждая начинающего поэта тяжело и обидно страдать.

Как ни странно, в самом этом страдании скоро обнаружилась горькая, но все-таки сладость. В его душе поэзия классицизма пробудила понимание красоты. Он выучивался всюду видеть ее, хоть бы в былинке, в букашке, и начинал находить ее в старых липах, под навесом серебряных тополей, в грустном шорохе прибрежного камыша. Он часами просиживал под дубовым кустом, погружившись в молчание, жадно слушая лишь робкий трепет листвы. Он растягивался в высокой траве. До его слуха доносились тихие звуки. Птицы пели над головой на разные голоса. Еще лучше было лежать на спине. Ему представлялось тогда, что он видит бездонное море. Вершины деревьев словно падали в его стеклянно-ясные воды, по которым плыли белые острова, а листва то сквозила вдруг изумрудами, то сгущалась так, что ее зелень делалась черной.

Глава седьмая

БУДНИ

Но как только он поднимался с земли, как только выбирался из доброго парка и входил в маменькин дом, все менялось у него на глазах. Всех без исключения дворовых, как и его самого, приводило в трепет одно имя Варвары Петровны. В первые утренние часы по дому шепотом передавались слухи о настроении барыни, и все замирали, точно в осаде, если из ее спальни приносили недобрые вести, ожидая, на кого обрушится ее гнев, потому что гнев ее мог обрушиться на любого, без различия пола, возраста и положения в доме. Все живое страшилось взглянуть на нее, не смело перечить, цепенело от ужаса, если вода в

хрустальном графине казалась ей недостаточно свежей, приходило в смятение, если в постельном белье чудился ей слабый запах грубого мыла. Потом он узнал, что этим добрым людям, с которыми он подружился, она тоже назначает розги за любую провинность, как назначала ему, только тех, недостойных и прочих, сторожа или конюхи нещадно дерут на конюшне.

«Их секли за все и про все. Конюшня была близко — и я все слышал. Как-то раз кто-то вырвал дорогой тюльпан. После этого всех садовников пересекли».

История с тюльпаном острой иглой так и врезалась в память. После нее он стал слышать каждый удар. Ему открывались ужасные драмы. Варвара Петровна походя сломала жизнь не одному Серебрякову. В ее бесчисленном штате обнаружился молодой парень, с увлечением рисовавший в свободное время на каждом обрывке бумаги, который ему удавалось найти. Она отдала его в обучение. Из парня воспитался талантливый живописец. Его пригласили расписывать потолок Большого театра в Москве. Она из гордости тотчас его воротила в деревню, лишь бы показать свою беспредельную власть и вдоволь поиграть судьбой подневольного человека, до чего была сладострастной охотницей. Она обожала цветы и повелела своему мастеру писать для нее букет за букетом, ничего более, только букеты цветов. Художник истинный, уже признанный, призванный, он писал их десятками, сотнями, тысячами, садовые и лесные, писал с ненавистью, писал со слезами отчаяния, проклиная свой Божий дар. Он рвался, рвался, скрежетал зубами, начал пить и скоро сгорел от вина.

Праздное воображение часто подводило Варвару Петровну. Как всем бессмысленным деспотам, ей всюду чудились козни, непокорность, приготовление к бунту. В таких случаях она не ведала жалости, да и была ли жалость ведома ей? Хмурого взгляда, неспешно скинутой шапки бывало довольно, чтобы тот же час улететь в рекруты, в глухую деревню, в Сибирь, что правительство отдавало на полную волю помещика, не прибегая к следствию и суду, выдав им подневольных крестьян головой. Она, поджав губы, говаривала:

— Мне не надобно тех, которые исподлобья глядят.

Как-то раз она исполняла свой моцион. Мужики чистили в запущенном парке дорожки. Один замешкался, поклонился не сразу, словно бы нехотя шапку стащил с головы, облепленной косицами влажных от пота волос. Этой мешкотности застигнутого в труде человека было довольно, чтобы накликать на себя ее гнев:

«Часа через три Ермила, совершенно «снаряженного», привели под окна ее кабинета. Несчастный мальчик отправлялся на поселение; за оградой, в нескольких шагах от него, виднелась крестьянская тележенка, нагруженная его бедным скарбом... Ермил стоял без шапки, понутив голову, босой, закинув за спину связанные веревочкой сапоги; лицо его, обращенное к барскому дому, не выражало ни отчаяния, ни скорби, ни даже изумления; тупая усмешка застыла на бесцветных губах; глаза, сухие и съезженные, глядели упорно в землю... Она встала с дивана, подошла, чуть шумя шелковым платьем, к окну кабинета и, приложив к переносице золотой двойной лорнет, посмотрела на нового ссыльного... качнула головой сверху вниз...»

Тут хоть она право имела ссылать: они были ее крепостные, бесправные, безгласные люди. Однако ж для нее никакого права не было писано, самый закон был у нее в кулаке. Мало того, что она утаила вольную Серебрякова, она, лет десять спустя, сдала его за непокорность в солдаты, на этот раз совершив еще большую несправедливость, правильнее сказать, совершив преступление. Льва Яковлевича отправили на Кавказ, на Кавказе он и пропал без следа.

Милому Ванечке чуть не каждый день доводилось наблюдать ее бешенство, ее неистовства, капризы или бесчинства. Его доброе сердце часто сжималось от бессилия боли, чужой боли, которую он ощущал как свою. Его интеллект развился непомерно. На его щупленьком тельце уродливо возвышалась громадная голова. Кости черепа оставались не по возрасту мягкими, и темя никак не могло зарости. Его не по-детски глубокая, сильная мысль обостряла так рано пробужденное восприятие жизни, несправедливой, болезненной, страшной. Разнообразные картины насилия порождали в его душе одно странное чувство. Спервоначально это было немое смущение. Мать — ведь это было священное имя, что-то вроде богини, которой он поклонялся и подражал, и он с отчаяньем в сердце чуть не с каждым днем открывал, что именно мать была его злейшим врагом. Она внушала ненависть ко всему, чем жила и что создавала. Он любил ее страстно, он не мог ее не любить и уличал себя в том, что начинает ее ненавидеть, с ужасом заглушал в себе это без сомнения позорное, гадкое чувство и не мог заглушить, не в силах был его одолеть, и временами это жуткое чувство доходило до отвращения то к ней, то к себе.

В этом непосильном кошмаре ему приходилось жить год за годом, все детство. Он любил, он ненавидел, он прятался, он страдал, он задыхался по временам от бессилия, пытался понять, за что ему в наказание дана его неумолимая доля, он следил за всем, что происходило в помещичьем доме и в близлежащей деревне, он самого себя разглядывал с недоумением, и

все вокруг рождало сотни острых вопросов, и ни на один из этих вопросов у него не находилось удовлетворительного, прямого ответа.

Под тяжестью избыточных впечатлений гнулась, кривилась хрупкая, еще податливая, уже израненная душа. Милый Ванечка против воли привыкал лгать, лишь бы избегать жестоких, но не заслуженных истязаний. Его воля слабела от сознания безысходности, он привыкал сомневаться в себе. Недостигаемый, непостижимый отец заражал его своим холодным равнодушием к людям, ему хотелось, но не удавалось быть равнодушным, он был влюблен и в дядю Николая Николаевича, и в Киреевского, и в генерала Уварова, который так смешно выбивал французов с русского кладбища. Мать усердно, настойчиво воспитывала в нем презрение к мужикам, но он не в состоянии был их презирать, во всем Спасском только они и были добры к нему; немудрено, что сближался он именно с ними, хотя бы из благодарности, да еще из солидарности наказуемых.

Во всем его существе, впечатлительном, рано пробудившемся болью, своей и чужой, укоренялся опасный разлад, причиняя другую, но тоже жестокую боль, принуждая его размышлять, критически относиться ко всему, что его окружало, ко всем, кто попадался ему на глаза. Он тайно наблюдал людей и события в доме и невольно, бездумно сортировал свои наблюдения. Это происходило именно безотчетно, стихийно, неприметно для него самого, однако эта внутренняя работа даром для него не прошла. Под давлением обстоятельств, бесчеловечных и злых, развивался критический ум, впоследствии многих поражавший своей глубиной, беспощадной трезвостью в оценке людей и событий.

Еще тяжелей было то, что долгие годы милый Ванечка был заточен в тесные рамки поместья, как в крепость. Его характер был еще зыбок, весь состав его еще мог измениться, а он лишен был возможности хотя бы краешком глаза поглядеть на большой мир, в котором творилось не одно же насилие, не одно же холодное презрение к людям царило, у него не было даже друзей.

Лишь иногда, до крайности редко, в барском доме происходило что-то загадочное. Тогда из большого мира вдруг приходили какие-то странные вести, нарушавшие привычное течение мыслей и жизни в уединенной усадьбе, всего лишь слабые отголоски великих событий, зато эти вести свидетельствовали о том, что он есть, иной мир, он существует, и в том мире иные, непохожие люди живут.

Милому Ванечке шел восьмой год, когда между родителей и гостей вскипели тревожные толки об арестах знакомых, родных, о бунте против царя в Петербурге. Арестовывали те и арестовывали тех, которые бывали в гостях, о которых вспоминали и говорили. Еще перед бунтом взяли Вадковского, соседа и родню по отцу. Вскоре после события через Спасское проследовал ротмистр Гринвальд с миссией чрезвычайной, смысл которой открылся позднее. Этот Гринвальд, по рассказам отца, оказался вовсе не Гринвальдом Родионом Егоровичем, а Морицем Рейнгольдом, вступившим в русскую службу после того, как Бонапарт расправился с Пруссией. Немец у нас прижился и навсегда остался в России. В заграничном походе Сергей Николаевич, тогда командир резервного батальона, и его брат Николай Николаевич выходили юнкера Гринвальда, умирающего от тифа. Происшествие сблизило их, они стали друзьями, вместе служили, вместе кутили в кавалергардском полку, а после отставки его Родион Егорович изредка навещал приятеля в Спасском. В самый день бунта, уже в чине ротмистра, он вывел свой эскадрон против бунтовщиков и позаботился попасть на глаза государю. Это ему удалось, и шестнадцатого декабря его командировали в Москву, Курск и Орел для взятия под стражу заподозренных кавалергардов, находившихся в отпуску. В Воронеже Гринвальд арестовал Захара Григорьича Чернышева, тоже ротмистра, кавалергарда, с которым Сергей Николаевич когда-то служил, и поручика Сергея Ивановича Кривцова, с отцом которого Сергей Николаевич состоял в дальнем родстве. Может быть, благодаря всем этим знакомствам и связям приключилась загадочная история: оба попали в руки властей в один день, однако поручик Кривцов в крепости оказался лишь месяц спустя после ротмистра Чернышева. Во всяком случае, в спасском доме долго вспоминали о нем. Варвара Петровна, все-таки добрая, хоть и актриса, позерка, что, по счастью, к сыну ее пристало на самое короткое время, тоже ломаная, как и ее сын, из несчастья Кривцова умудрилась сделать себе развлечение. Сестра с иронией писала ему, заточенному в крепость: «Если бы ты слышал, как она воркует о своей жалости и любви к тебе, ты был бы тронут». Потом разговоры о бунте затихли, о катаклизмах большого мира забыли, да и катаклизмов в большом мире, видать, более никаких не случалось, так что жизнь в барском доме вновь замерла, и ее течения невозможно было приметить, как невозможно приметить течения воды подо льдом.

Зато другой, постоянной, удивительной вестью о большом мире для милого Ванечки стали книги, стоило их только раскрыть. Он часто их раскрывал, особенно потому, что его обучение шло тихим шагом и не оставляло в сознании приметных следов. В классной комнате, заведенной для правильных школьных занятий, милый Ванечка с братом были отданы в полную власть гувернерам, большей частью, конечно, из немцев, которые после войны с Бонапартом заменили негодных французов, но и добрые немцы не выходили за уровень,

присущий легковесным французам, то есть сами едва были грамотны. Немцы скорей запоминались курьезами, но только не основательностью хотя бы скромных школьных познаний. Так, один немец привез с собой клетку с вороной, ничем не примечательной, не обученной, совершенно обыкновенной, как те, каких милый Ванечка подстреливал в парке. Дворовые люди очень метко его прозвали Фуфлыгой. По правде сказать, препоразительный был экземпляр! Всякий раз, как случалось ему разворачивать Шиллера, Фуфлыга заливался слезами, желтоватыми, мелкими, быстрыми, несмотря даже на то, как выяснилось потом, что у себя на родине, до небескорыстного решения податься в русские педагоги, промышлял далеким от высокой словесности кожевенным ремеслом. Другой немец запомнился единственно необыкновенным своим увольнением. Как-то раз, видимо, исчерпав весь скудный запас своих педагогических средств или спьяну, он брата Николеньку оттащил за вихры. Сергей Николаевич редко заглядывал в классную комнату, а тут как на грех появился в самый разгар педагогического воздействия на его старшего сына. В один миг он сделался страшен. Он ухватил плечистого немца за шиворот, приподнял над полом на целый вершок, швырнул с лестницы второго этажа, крикнул людей и приказал тотчас выпроводить эту скотину за ворота усадьбы.

Этим благородным поступком отец приобрел новый ореол в восторженных глазах милого Ванечки, однако дело обучения нисколько не продвинулось вперед. Гувернеры сыпались один за другим, точно червивые яблоки с яблони. В перерывах между увольнением неугодного, глупого или охочего до русской водки и дворовых прислужниц, не всегда миловидных, но крепких, одного немца до приискания нового немца, угодного, непременно умного, образованного и безупречного по нравственной части, то есть по части прислужниц и водки, Варвара Петровна брала на себя заманчивую роль успешной наставницы. Сама она никогда не училась и потому в основу образования полагала страх и образцовый порядок. Она писала французские записочки каждому из детей, обозначая, чем и в какие часы они обязаны заниматься, причем даже отдыхать им было велено по ее наставлениям, так что процесс обучения под ее руководством оборачивался томительной каторгой, с которой был невозможен побег.

Плод этих многих совместных усилий оказался на удивление мал. Мало-помалу сыновья обучились французскому языку, главным образом потому, что сама Варвара Петровна говорила и читала исключительно по-французски. Милый Ванечка овладел также немецким, именно тем диалектом, на котором изъяснялись седельники и сапожники, под видом гувернеров попадавшие в дом. Все-таки вместе с родным это было три языка. Благодаря им

при желании можно было и самому проникнуть в кладовую разнообразных человеческих знаний, и милый Ванечка все чаще наведывался в библиотеку, прежде запретную, а теперь открытую и для него, и с увлечением просиживал в ней до тех пор, пока его не настигала спросливая Варвара Петровна, ужасно недовольная непозволительным нарушением ее расписания.

В библиотеке стояли солидные, прочные шкафы из мореного дуба, по которым хоть из пушки пали, так основательна была работа выписных, еще больше доморощенных мастеров, однако богатейшее собрание книг было в полнейшем забросе: Сергей Николаевич, человек, без сомнения, образованный, умный, выйдя в отставку, ничего не читал, со всем пылом единственной страсти отдаваясь другому, Варвара Петровна была усидчивая охотница лишь до французских романов, которые исправно присылались ей известными книгопродавцами из Москвы. Все в библиотеке покрылось толстым слоем нетронутой пыли, что было странно при чрезвычайной склонности Варвары Петровны к неукоснительному порядку, часть книг была не разобрана и валялась брошенной в связках, другие лежали на полках плашмя или были поставлены кверху ногами.

Милого Ванечку это такое безобразие мало смущало. Он читал без разбора древних классиков, естественно, в переводах, поскольку ему не преподавали ни латыни, ни греческого, да и едва ли эти языки когда-нибудь знали в роду Тургеневых и Лутовиновых, слишком далеких от классической образованности, читал великих французов, без которых не обходилась ни одна библиотека богатого русского барина эпохи Екатерины, включая всенепременно скептического Вольтера, посягал на «Энциклопедию» Дидро и Даламбера, проглатывал французские романы и творения незабвенного русского классицизма, которые мирно уживались в позабытых шкафах.

Перед ним раскрывалась бездна премудрости, сочиненная образованными людьми в течение трех или четырех тысяч лет. В эту премудрость он пытался проникнуть с тем же пылом, с каким ломал голову над тайным смыслом эмблем и символов Максимовича-Амбодика. Нечего говорить, что эта твердая пища предназначалась не для молочных зубков незрелого отрока, которого к тому же ничему путному не учили, и он, естественно, мало что понимал, в особенности у Дидро и Вольтера, но чтение делало, как водится, свое великое дело: одиночество пропадало куда-то, забывались вседневные розги и брань, отступала тоскливая плоскость обыденности, открывался безграничный мир необычного, мир новых мыслей, неведомых стран, мир невероятных приключений, мир бессмертных героев, мир немеркнувшей

красоты. Уже никогда он с этим замечательным миром расстаться не мог, и с течением времени его исключительная начитанность станет приводить в изумление и самых начитанных, самых образованных из его современников.

Варвара Петровна не подозревала о том, как был широк круг интересов ее непослушного, непокорного, однако все-таки милого Ванечки, с какими беседует он мудрецами, укрывшись от ее капризного, бессмысленного надзора. Она обходилась одними официальными сведениями, а официальные сведения обыкновенно бывали неутешительны. Она гордилась тем, что оба дяди ее в блистательном веке Екатерины дослужились до бригадиров, и потому она не могла не желать, чтобы ее сыновья, Лутовиновы, прежде всего отличились в карьере, как бы ни презирала она это новое, постное время. Сергей Николаевич тоже был не прочь видеть их в блеске славы, конечно, военной, если только начальные ступени этого блеска не возьмут много хлопот с его стороны.

Таким образом, на семейном совете, который возглавила Варвара Петровна, порешили перебраться в Москву. Исполнение останавливалось за управляющим, на которого можно было бы возложить хлопоты по обширным имениям, к тому же разбросанным по разным губерниям. Тогда Сергей Николаевич, которого Москва соблазняла по его собственным соображениям, предложил своего младшего брата, коротавшего бесцветные дни похлостячки в Юшкове, от Спасского верстах в сорока. Варвара Петровна, к его удивлению, согласилась. И семейство громадным барским обозом переместилось в Москву.

Глава восьмая

НА САМОТЕКЕ

Тургеневы поселились на Самотеке, Сретенской части, второго квартала, в собственном доме № 233, и зажили по-московски.

К этому времени милому Ванечке исполнилось уже девять лет. Его растревоженная душа была полна беспокойных желаний, его смущали неясные, неопределенные чувства, сбивали с толку случайные мысли о том, что было выше его понимания, его душевные силы находились в непрестанном брожении, в нем зрел, безрадостно, тяжело, зрел будущий человек. Наступил тот самый сложный, самый обманчивый и потому ответственный возраст, когда умелый воспитатель может лепить и ваять, вкладывать свои убеждения, прививать свои моральные принципы и если не сломать природную склонность, то серьезно искалечить ее. Чуткость,

внимание, искренняя забота Сергея Николаевича и Варвары Петровны могли бы сфабриковать из доброго, склонного к состраданию отрока, уже начавшего сблизиться с дворовыми страдальцами их широкого деспотизма, стопроцентного дворянина.

Однако милому Ванечке на этот раз повезло. Как ретиво Варвара Петровна муштровала его все первые девять лет слезами политой жизни, как те же первые девять лет Сергей Николаевич равнодушно его отстранял, так оба сделались вдруг совершенно невнимательны в важные годы его созревания. Им было некогда заниматься его воспитанием, потому что им представилась возможность заниматься напропалую только собой.

И после пожара рокового и славного Двенадцатого года Москва жила патриархально, неторопливо, точно отрезанная как от первой, казенной столицы, так и от всей беспредельной России. В этой нынче второй, прежде первой, старинной столице проводили долгие зимы истосковавшиеся за лето дворяне захолустных городов и забытых усадеб, с желанием вдоволь развлечься коротали время хорошенькие сельские вдовы и истомившиеся невесты в надежде на хорошую партию, укрывались от государева гнева опальные вельможи, отставные генералы и екатерининских времен бригадиры. Жили все широко, одни от неистощимых избытков, другие, впадая в долги, и все потихоньку ворчали да бранили новые времена.

Весь этот люд, праздный и сытый, имевший от трехсот до тридцати тысяч душ, привольно обитал в старинных особняках, отчасти восстановленных после пожара, отчасти построенных заново по чертежам известнейших архитекторов, с парками, с садами, с обширными флигелями, полными ленивой прислуги, с конюшнями, с лошадьми, с курами, свиньями и прочей живностью, всегда готовые пойти на обед из двенадцати блюд. Не имея занятий, ни даже тени занятий, дворянская Москва пиновала изо дня в день, ездила друг к другу с визитами в поместительных каретах, заложенных четверней, в особых же случаях шестерней, долгие часы просиживала за обедами, за ужинами, много ела, много пила, много спала, много танцевала, много сплетничала, другими словами, во все тяжкие наслаждалась бездельем, изредка раскрывая с зевотой газету или модный французский роман, несмотря на то, что в иных домах водились библиотеки, прекрасные, многотомные, на зависть заезжим французам и немцам. Воспитанием детей не занимался никто. Детей сбывали с рук и не вспоминали о них по несколько лет.

Тургеневы тотчас влились в московскую жизнь, без усилий со своей стороны. Детям, естественно, не оказалось места в жизни родителей. Милого Ванечку определили в закрытый,

без права посещения, пансион, сперва в Лазаревский, впоследствии ставший институтом восточных языков, в котором он по неизвестным причинам пробыл всего-то месяца три, потом перевели в пансион Вейденгаммера, где он провел что-то около двух лет или несколько долее.

Натерпевшись в одиночестве Спасского, он обрадовался компании сверстников и бросился обзаводиться друзьями, по наивности полагая, что все они только и ждут дружбы с ним, как ждал ее он. Тут обнаружилось, что злое семя сословного чванства, брошенное и возделанное усилиями Варвары Петровны, уже проросло и готово было цвести. Он без промедления попробовал сблизиться исключительно с высшим обществом пансиона, которое состояло из ничтожного князька с прыщавым лицом и нескольких вертлявых сынков из считавших себя аристократическими фамилий.

Опять же по счастью, ему без промедления пришлось убедиться, что высшее общество лицемерно, бездушно, от скуки жестоко и в пансионе.

Ну и натерпелся же он за свою доверчивость к устремлениям маменьки в высшие сферы на манер бесподобного дяди Ивана Ивановича! Великосветские шалопаи, праздный умишко которых не увлекался ни в какие сети наук и искусств, да пансион почтенного Вейденгаммера и не располагал никакими сетями, скоро прознали, что у него на темени кости не совсем прочно сошлись и что чувствительность этого слабого места до того велика, что одного прикосновения бывало достаточно, чтобы причинить ему ужасную боль, сам же он об этой достопримечательности своей из простоты душевной им рассказал: с одной стороны, именно из доверчивости, воспитанной в нем одиночеством, а с другой стороны, должен же он был хоть чем-нибудь похвастаться перед ними, а других достопримечательностей он пока не имел. На радостях, что явилась возможность развлечься от тягостной скуки ученья, ни с какой стороны не нужного им, будущие гвардейские офицеры, камер-юнкеры и флигель-адъютанты его величества, исхитрясь захватить простофилю врасплох, всякий раз давили на уязвимое место, деятельно стараясь надавливать как можно сильнее, отчего случались с ним обмороки.

Когда действительная жизнь некрасива, жестока, груба, люди тонкой душевной организации скрываются от нее в мир чудесного вымысла, чтобы выжить, спастись. От воспитательных притеснений Варвары Петровны милый Ванечка прятался в героический, возвышенный мир громогласного русского классицизма. Его кумирами сделались Ломоносов, Херасков, Державин. В пансионе классицизма ему было мало, ведь классицизм смело уживался и с

самой темной действительностью, недаром кругом униженный Серебряков с верным чутьем помятого жизнью плебея осуждал в Державине царедворца, да милый Ванечка и перерос к тому времени классицизм. Бессердечные издевательства избранных им школяров нанесли по его понятиям слишком серьезный удар. Он и в Спасском ненавидел несправедливость, а в пансионе душа его готовилась к бунту — не мог же он терпеть без конца. Ему самому приходилось вырабатывать свои убеждения, и на этот раз, поскольку под крылом Вейденгаммера не нашлось книг, он обнаружил сносное прибежище в математике, которая утешала его своей логикой, неподкупной и строгой, и уводила от скорбей жизни в свои бесконечные лабиринты.

Но и неподкупная строгая логика математики не спасала его от горьких раздумий, разумеется, в первую очередь о себе, ведь он вступал в тот смутный, болезненный возраст, когда необходимость познания собственной сущности неодолимей, стократно важней познания сущности жизни.

Ничего хорошего открыть в себе он не смог. Наглое негодяйство прыщеватых князьков и малолетних бездельников приводило к тому, что он сознавал себя полнейшим ничтожеством. Он увидел, что был неуклюж, с толстым носом, совсем некрасив, что в его лета обнаружить, пожалуй, страшнее всего. Прирожденная застенчивость, робость, взращенная тяжелым нравом Варвары Петровны, не позволяли ему на оскорбление или удар ответить еще более сильным оскорблением или ударом, у него не поворачивался язык, не поднималась рука. Расставшись с первой иллюзией, будто громкое имя и титул совпадают с истинным благородством, он стал страшиться подойти близко к кому-либо из шумных пансионских товарищей: князьков он боялся, нетитулованных бедняков презирал, как их презирала Варвара Петровна. Таким образом, он вдруг решил, что он не достоин людей и что люди не достойны его.

А рядом с ним не оказывалось ни матери, ни отца, ни дорогого сердечного друга. С горьким бедствием внезапного разочарования в себе и в других ему предстояло справляться на свой страх и риск. Ему предстояло напрячь все наличные силы характера и ума, чтобы отчаяние не искалечило его навсегда, а имелись ли у него характер и ум? Ему предстояло сделаться проницательным, как гадалка, чтобы угадывать скрытые мысли, подлые намеренья ближних, поскольку открылось ему, как обманчива внешность, а таились ли в нем таланты гадалки? Он должен угадывать по каким-то невидимым признакам, кто его друг и кто его враг, иначе он мог задохнуться во тьме неизвестности, а как угадать?

Как водится в жизни, его выручил случай. В пансионе в одно время с ним обитало, по общему мнению, жалкое существо, долговязый подросток, почти уже юноша, с впалой грудью, с большой головой, обыкновенно клонившейся на бок, с жидкими косицами русых волос, с пухлым носом плебея и прекрасным открытым выпуклым лбом. Мать существа давно умерла, отец, вышедший в отставку армейский майор, оставил его в пансионе, уплатив за год вперед, и куда-то бесследно исчез. Его дальняя тетка была так бедна, что предпочитала скрываться, лишь бы его не отослали на ее иждивенье. По счастью, добрый немец его приютил, взялся кормить за общим столом, позволил проходить курс наук вместе с другими обитателями его заведения, кое-как одевал, большей частью в обноски, свои или своей бережливой немецкой супруги, поскольку и сам был весьма и весьма небогат. Так сын отставного майора против воли попал в презренное положение приживала, за то и презирал его без исключения весь пансион, милый Ванечка, уже с задатками дяди Ивановича, в общем числе.

И все-таки его поражало в отвергнутом всеми подростке одно странное свойство, которого он сам не имел и прежде ни в ком не встречал: сколько бы ни измывались над бедным сыном отставного майора князьки и прочие любители поразвлечься унижением беззащитного ближнего, тот не заискивал, не оскорблялся, не таил в себе злобы, а отходил от обидчиков в сторону и молча жил какой-то спокойной, отдельной, собственной жизнью, которая явным образом была жизнью наполненной, самодостаточной, не нуждавшейся в понимании и одобрении со стороны кого бы то ни было. Чем же он жил?

Однажды, как никогда одинокий, несчастный, милый Ванечка вышел в небольшой садик позади пансиона, жалкое подобие пышного спасского парка, который однако содержался с сугубо немецкой опрятностью толстой женой Вейденгаммера. К его удивлению, опальный сын отставного майора один-одинешенек сидел на скамье и что-то читал. Любопытный, как женщина, это свойство сохранилось у него навсегда, милый Ванечка, проходя мимо, умудрился разглядеть одним быстрым взглядом, что это было немецкое издание Шиллера, любимейшее чтение одного из неудачливых его гувернеров. Он был поражен: как, этот оборвыш и приживал знает немецкий язык, которым полагалось владеть одним избранным, лучшим? На его высокомерный запрос тот, нисколько не уязвившись, спокойно ответил, что выучился по-немецки от своего благодетеля, что Шиллера полюбил с того дня, как в первый раз его прочитал, и что нынешним вечером имеет удовольствие перечитывать оду «Покорность», и вдруг предложил прочитать ее вслух. Милый Ванечка даже опешил, однако сел рядом с ним, с подловатым намереньем посмеяться над этим самонадеянным самоучкой, и уже после первой строфы был унижен и оскорблен: оказалось, что бедный сын пропавшего

без вести отставного майора знал немецкий язык много лучше, чем он, Тургенев и Лутовинов, наследник богатейшей усадьбы, о чем Варвара Петровна сотни раз твердила ему, питомец пяти или шести гувернеров из немцев! В довершение позора, от которого он все жарче краснел, сын пропавшего без вести отставного майора, заметя его затруднение с кое-какими словами и сложными немецкими оборотами речи, как ни в чем не бывало принялся ему помогать и даже толковал смысл многих стихов, до которого он еще не дорос, и делал это с такой неожиданной непринужденностью доброго, истинно деликатного человека, что очень скоро милый Ванечка позабыл про свое унижение, увлекся, разговорился оживленно и от души и на другой день любил неказистого на вид приживала той чистой и страстной любовью, которой умеет любить только тот, кого никто не любил, кто заброшен и одинок.

Скоро он стал понимать, отчего сын пропавшего без вести отставного майора не отвечал на самые злые насмешки, даже их очевидно не замечал: этот молодой человек, сторонясь реальной действительности, во все время всей душой погружен был в светлый, чарующий мир идеала, уходил от грязи и пошлости в те невидимые пространства, в которых одна святыня красоты, как он выражался просто, без пафоса, царствовала торжественно, всепобедно, где находилось место и время лишь таким, прежде милому Ванечке неизвестным, понятиям, как «добро», «истина», «жизнь», «наука», «любовь», благодаря которым достоинство человека было так высоко, что его не могли затронуть какие-то издевательства самых отъявленных титулованных негодяев.

Вместе с сыном пропавшего без вести отставного майора милый Ванечка вдруг подпал под благотворное действие романтизма, который как раз в те неопределенные, тусклые годы зародился во Франции и в Германии и оттуда постепенно растекался и по России, очаровывая новое поколение, после Двенадцатого года и героического бунта на Сенатской площади в Петербурге еще только вступающее в жизнь.

В Европе это новое ощущение реальной действительности, давшее живительный сок целому направлению, большей частью в литературе, но также в живописи и в музыке, зародилось как следствие неудавшейся революции и разгрома армий Наполеона. Старый мир, корыстный, эгоистичный, не удалось переделать ни силой оружия, ни ножом гильотины. Свобода, равенство и братство, без которых мыслящим людям обеспечено нравственное паденье, остались сладкой мечтой. Моря крови оказались бессильны вкоренить в реальную жизнь эти, без сомнения, великие принципы. Для многих, чуть не для всех, угрюмая материальность пришла на смену величию идеалов. Выгода, прибыль, корыстный расчет сделались смыслом

существования, именно существования, существования плоти, а не стремлений неукротимого духа, не беспокойной жизни души. В мгновение ока не осталось места для подвига, для служения общему благу. Очерствела душа.

Одни романтики продолжали свято верить в великие принципы. Одни романтики не сумели ужиться с серой толпой расчетливых лавочников, с толпой бескрылых мещан, жадных накопителей, безмысленных потребителей разнообразных жизненных благ, с толпой жалких пигмеев торжествующей реставрации старых порядков, хотя и плохо верили в возможность духовной победы над ней.

На их трудную долю выпало гордое одиночество, сознание собственного величия, ощущение обреченности, вследствие этого величия, жгучие, едва ли переносимые живым человеком нравственные страдания.

Идеи освобождения, не убитые ни картечью, ни казнями, открыли романтизму дорогу в Россию, поскольку романтизм уводил непокорные, несмирившиеся умы из грязного мира чиновничества и шагистики в прекрасный мир идеала. Правда, идеал романтизма был отвлеченный, не имевший корней в реальной действительности, но он спасал молодые души от очерствения, а молодого человека с сердцем и умом от нравственной грязи, от пошлости. Сначала Марлинский, потом Бенедиктов, не говоря о Шиллере и нескольких менее известных немецких поэтах, были у этих немногих избранных на устах.

Одиночество — благодатная почва для романтизма. Милого Ванечку держала в ежовых рукавицах деспотичная мать, его не подпускал к себе равнодушный отец, в пансионе его не любили. Он в целом мире оказался один, и мир поневоле представился ему неприятным, жестоким и злым. По существу, романтические элегии, баллады, послания друзьям и любимым извлекли его из бездны отчаяния. Романтики показали ему замечательных, могучих духом людей, образ которых уже смутно рисовался в мечтах. Они с благородным сочувствием, то грустно, то пылко, повествовали о таких же несчастных, как он, брошенных, позабытых, презираемых жестокосердной толпой. Они громко и пламенно говорили о невидимых муках всех одиноких скитальцев. Они самым тоном, самым звуком возвышенной речи убеждали его, что именно в неизбежном, как будто безмерном страдании и состоит величие настоящего человека, потому что безболезненно, безмятежно прозябают только глупцы. Благодаря им его несчастья приобрели новый смысл. Именно они, эти несчастья подростка, всеми покинутого, обещали славную будущность, исключительность, может быть, гениальность. Самое одиночество ему сделалось сладко. Робкий взгляд испуганного зверька

понемногу становился еще робким взглядом прозрения. Помилуйте, не раз говорил он сам себе, эти князьки, эти высокомерные шутники и задиры, которые днем и ночью окружали его в пансионе, и есть бездумная, бездушная, единственно презренья достойная толпа. В суждениях этой маленькой, но злобной толпы он расслышал одну желанную мысль о карьере, о богатой невесте, об орденах и чинах. И вот он один среди них отныне жил мечтами об огненной славе. Разумеется, он не мог знать, где и когда великая слава настигнет его, возвысит его пока что темное имя, однако в душе уже затаилась надежда, что она не минует его. Больше того, своей будущей славой он заранее наслаждался вполне. С горьким сарказмом он думал о том, как его тупые гонители когда-нибудь вдруг обнаружат, какого прекрасного человека притесняли они в своем глубоком и грубом ничтожестве. Одной этой мысли было достаточно, чтобы впредь сносить любые мучения с их стороны.

Немудрено, что каждое слово его нового друга приобретало в его сознании непреложность безоговорочной истины, каждая минута, проведенная рядом с ним, давала ощущение полного счастья. Только так безоговорочно, безоглядно и мог он любить, только так целиком, без остатка он и мог отдаваться, верно, эта полнота чувств была написана ему на роду.

Естественным состоянием такой дружбы была глубокая тайна. Он прятался с бедным сыном пропавшего без вести отставного майора, как когда-то с Серебряковым скрывался в зарослях спасского парка, однако на этот раз им чаще приходилось прятаться по ночам, когда другие пансионеры, то есть толпа, принимались безучастно храпеть в дортуаре, стало быть, они таились по всем правилам романтизма. Они подолгу бродили вдвоем по тощим аллеям скудного немецкого садика или часами сживали на любимой скамье, тесно прижавшись друг к другу. Вообще, бедный сын пропавшего без вести отставного майора говаривал с затруднением, мало, однако в необыкновенные часы этих одиноких прогулок он воодушевлялся, простое лицо его разгоралось. Потом они вдруг оба принимались говорить много и жарко, перебивая друг друга, но, странное дело, о чем бы ни заходила речь между ними, не спорили никогда. Потом они читали стихи. Тогда на душе милого Ванечки становилось весело, счастливо, горячо. Душа, словно бы медленно отделяясь от брэнного тела, куда-то неслась, в какой-то прекрасный, в какой-то таинственный мир. Натурально, тогда они часто глядели на небо, покрытое то облаками, то сиянием звезд, полагая в детском восторге, что все лучшее в жизни пребывает именно там. Однажды, залюбовавшись блеском бесчисленных звезд, бедный сын пропавшего без вести отставного майора негромко, но с пафосом прочитал:

Над нами

Небо с вечными звездами...

А над звездами их Творец...

«Благоговейный трепет пробежал по мне; я весь похолодел и припал к его плечу... Сердце переполнилось...»

Эти очистительные мгновения действовали так сильно, что милый Ванечка в первый раз серьезно задумался над собой. При свете высокого идеала, воспеваемого по всему свету романтиками, он обнаружил несовершенство, кучу отвратительных недостатков, приобретенных в родительском доме, которые прежде, как ни странно, представлялись достоинствами, он понял, что живет вовсе не так, как подобает жить благородному человеку, и попробовал сам себя воспитать. В первую голову он ощутил презрение к лжи, которая с неизбежностью развилась в нем под розгами Варвары Петровны: кому же хочется, чтобы его то и дело секли? Он медленно очищался от скверны, однако он сражался с ней один на один, а скверна, как выяснилось, успела глубоко вкорениться. Никто ему руки помощи не протянул, никто не заметил, как слабый отрок в одиннадцать лет подвиг самовоспитания себе на плечи доброй волей взвалил. Напротив, в доме на Самотеке вдруг состоялось решение, что пансион Вейденгаммера не отвечает тем требованиям, которые необходимы для воспитания дворянина, и в августе 1829 года его поместили в пансион Армянского института, ввергнув на попечение инспектора Краузе.

В этом заведении одно замечательное событие запомнилось ему на всю жизнь. Долгими осенними вечерами учитель российской словесности, он же и надзиратель, которому не полагалось ни днем, ни ночью оставлять питомцев одних, пересказывал воспитанникам «Юрия Милославского», роман Михаила Загоскина. Этот первый исторический русский роман не шутя тогда ставили вровень с романами Вальтера Скотта. Занимательный сюжет, благороднейшего свойства герои, которые так и просились на подражание, чего еще было надо впечатлительному подростку? Вымышленных героев милый Ванечка принимал за живых, вместе с ними огорчался и радовался.

«Невозможно изобразить вам то поглощающее и поглощенное внимание, с которым мы все слушали; я однажды вскочил и бросился бить одного мальчика, который заговорил было во время рассказа. Кирша, земский ярыжка, Омляш — боярин Шалонский — все эти лица

были чуть не родными всему нашему поколению — и я до сих пор помню все малейшие подробности романа...»

С этого дня его кумирами безоговорочно сделались, пока еще рядом с математикой и Загоскиным, Карамзин, Жуковский и Пушкин, которых он именно с романтическим увлечением перечитывал по множеству раз и затверживал наизусть неприметно для себя самого, так что стихи то одного, то другого, то третьего то и дело сами собой попадались ему на язык, а чувствительный стиль «Писем русского путешественника» надолго стал его стилем. Однако все это прошло мимо внимания и Сергея Николаевича, и Варвары Петровны, которая тем не менее продолжала звать его не иначе как милым Ванечкой. Сергей Николаевич даже вывел ни с того ни с сего, что в пансионе Армянского института его сын лишь напрасно время теряет, что в одиннадцать лет его пора готовить к поступлению в университет, а старшего, Николая, служить в артиллерию. Его вдруг воротили домой.

В доме на Самотеке он обнаружил невероятные перемены: Варвара Петровна, видимо, присмирела. Во всей Москве у нее не оказалось ни родных, ни близких знакомых, с кем бы она могла коротать роковое свое одиночество. Напротив, у ее мужа в Москве жила мать, семья сестры Тепловой и семья брата, множество ближней и дальней родни. Здесь же обнаружились бывшие его сослуживцы по конной гвардии, по елизаветградским драгунам, так что старые приятели, большей частью отставные военные, встречались чуть не на каждом шагу. Немудрено, что в первопрестольной Сергей Николаевич ощутил себя намного прочнее, чем в спасской глуши. Это помогло окончательно сломить Варвару Петровну. Он оттеснил ее от всех дел и совершенно перестал с ней считаться, точно мстил за прежние унижения с ее стороны. Она, конечно, тяжело страдала, но страдала в гордом молчании, все плотнее поджимая тонкие желчные губы, лишь изредка позволяя себе смятенно и безнадежно вздыхать. Она почти нигде не бывала. Детей у нее отобрали. Даже над дворовыми, людьми безответными, стало неприлично тешиться всласть. Она все больше ожесточалась, уходила в себя и точно ждала, когда настанет ее час своеволия и безжалостной власти над всеми.

Сергей Николаевич поставил себя независимо и приятно не в одном только собственном доме. Его отношения с бароном Черкасовым, проходившим по делу о Четырнадцатом декабря, были прекрасны и у всех на виду. Он подчеркивал свое родство с приговоренным и сосланным декабристом Кривцовым, открыто принимал его брата, отправлял теплые вещи в каторжные читинские норы и его портретом украсил кабинет, в котором, впрочем, редко бывал. Он не скрывал своих приятельских отношений с Александром Тургеневым, младший брат которого, Николай, нынче приговоренный к смерти через повешение, во время оно

преподнес ему в дар свой «Опыт о налогах», видимо, не из одних только родственных чувств. Он так бравировал своими взглядами вполне просвещенного человека, что, в конце концов, им заинтересовалась полиция и установила за ним негласный надзор, о чем ему, по всей вероятности, было известно через приятелей и родню.

Впрочем, едва ли его взгляды вполне просвещенного человека сделались истинным убеждением, за которое жертвуют жизнью. Скорее всего эта бравада была для него острой, как перец, игрой, без которой жизнь в пошлой, ленивой Москве была бы для него слишком пресна. Куда больше политики он увлекался московским театром. На этой почве он близко сошелся с домом Бакунина, старшая дочь которого занималась живописью и на короткое время сделалась невестой Адама Мицкевича, а вторая, Пашетта, была начинающей поэтессой. У Бакуниных, перебравшись из Петербурга в Москву, квартировал известный драматург Шаховской, приятель, чуть не учитель недавно погибшего Грибоедова. Нарышкин, Сергею Николаевичу тоже приятель, дружил с Александром Дюма и был женат на актрисе Женни Фалькон. Завсегдаем в его собственном доме на Самотеке скоро оказался Загоскин, директор московских театров и драматург. Правда, обильные знакомства в мире поэзии и театра не мешали Сергею Николаевичу бывать частым гостем в доме Пашкова, где пир шел горой чуть не круглые сутки и на крупные ставки велась открыто карточная игра. Само собой разумеется, что жену в его жизни окончательно вытеснили бессчетные связи. Ведаться с детьми ему тоже было недосуг.

Его повелением, в доме повелевал теперь он, милый Ванечка и брат Николай были сданы на полную волю учителям. Первым лицом среди них был по неизвестной причине определен Погорельский Платон Николаевич, а уже Платон Николаевич ведался с другими учителями с правом сменять и подбирать на их место других, его же собственным предметом была математика, которую Платон Николаевич преподавал без особенного успеха, да милый Ванечка именно этой наукой занимался с таким увлечением, что учитель скоро его полюбил, обыкновенно проявлял к нему снисхождение и заступался за него перед другими учителями, когда ему доставалось за ошибки в уроках.

Дмитрий Никитич Дубенский, учитель русского языка, Московского университета магистр, серьезно и деятельно занимался наукой и напечатал исследование «Слова о полку Игореве», довольно «замечательное по своему времени». Владелец удивительного красно-синего носа и смешной привычки как-то странно кряхтеть перед началом урока, он отличался благородством и простотой в обращении со своими учениками и в то же время умел

оставаться самым строгим, самым добросовестным из педагогов. Принадлежа к старинной школе преподавания, он терпеливо и основательно обучал своих невольных питомцев российской грамматике, Карамзина, Жуковского и Батюшкова почитал образцами недостижимыми, тогда как Пушкина не любил, порицал за «вольности пиитические», за воспевание низменных, недостойных предметов, противных духу поэзии, не только возвышенному, но и священному, и всякий раз восклицал сурово, чуть ли не с ненавистью, когда речь заходила об авторе «Руслана и Людмилы» и «Кавказского пленника»:

— Змея, соловьиным пением наделенная!

Старик Дубле, эмигрант, не первой, дворянской, а второй, якобинской волны, терпеливо посвящал в тонкости французского языка, отлично знакомого с детства. Невозмутимый, с мясистым носом в красных прожилках, в потертом, долго ношенном сюртуке с гранеными пуговицами, Дубле скоро понял, что его ученик мало нуждался в его толкованиях спряжений и наклонений, которыми и сам он владел не вполне, едва ли когда-нибудь в своем бурном прошедшем имея возможность позаняться этой, по правде сказать, суховатой наукой. Его истинной любовью была революция, в особенности ее первый, мирный и потому, по его уверению, блестящий период, а в сонме деятелей того великого времени первое место в его любящем сердце занимал Мирабо.

Вот он и занялся, под видом французской грамматики, посвящать юного русского дворянина в тайны переворота, которого следствием, как он выражался, явилась казнь короля. В пример высокой риторики он ставил речь Мирабо, произнесенную в Национальном собрании двадцать второго мая 1790 года. Трибун революции настаивал в ней, что право объявления войны и заключения мира в равной мере принадлежит королю и всей нации. Его противники, стремясь его свергнуть, выпустили памфлет «Великая измена графа Мирабо». Мирабо им отвечал: «Что мне за дело! Эти удары снизу вверх не остановят меня в моем стремлении!..» И речи предвестника якобинцев приводили в восторг того, кто стараниями Варвары Петровны должен был походить на дядю Ивана Ивановича, крепостника и жестокого самодура, и многие места этих речей казались ему превосходными, его увлекал героический дух и самый дух перемен.

Латинист Щуровский, знакомя его с блистательным языком Цицерона и Цезаря, большей частью занимался с ним философией, приметя в нем благую склонность к размышлению над предметами отвлеченными, сам подчас увлекался в дебри премудрости не меньше

подростка, и тогда оба, позабыв о предмете урока, позабыв обо всем, углублялись в тайны высшего бытия, как говаривал после Щуровский со светлым лицом.

Однако особенным любимцем милого Ванечки был Иван Петрович Ключников, уроженец Малороссии, однако же русский, из бедной дворянской семьи, владевшей хуторком Криничным Сумского уезда, студент университета, восемнадцати лет, любивший о себе повторять, что горькая бедность заставила его идти открытой грудью против судьбы, вероятно, имея в виду необходимость перебиваться уроками. С длинным носом на чрезвычайно худом и длинном лице, обрамленном еще жидковатыми, однако уже пушистыми бакенбардами, в мундирном фраке, в картузе с длиннейшим козырьком, Иван Петрович вступал в классную комнату как-то нехотя, через силу, точно в самом деле грудью против судьбы, тяжело опускался на стул, протяжно вздыхал, сбрасывал картуз так, точно на его голове была непомерная тяжесть, раскрывал табакерку, заряжал нос доброй понюшкой, протяжно чихал и вдруг говорил с доброй улыбкой всегда одни и те же стихи:

В тяжелый час, когда душа сгрустнется,

Слеза блеснет в глазах, и сердце содрогнется,

И скорбная глава опустится на грудь, —

Понюхай табаку и горе позабудь.

Иван Петрович был то, что по-русски называется «самоед». Постоянно его сокрушало сознание бесцельно прожитой жизни, болезненное предчувствие близкого, неминуемого, как известно, конца, его существование омрачалось терзаниями самого разнообразного свойства, он обсуждал каждый свой поступок и вслух, и еще более наедине с собой, сплошь и рядом находил себя низким и пошлым, и однажды, придя на урок, как-то долго и пристально понюхав табак, уныло признавшись, что в забывчивости раздумья только что съел полбанки варенья, сокрушенно сказал:

— Благородство природы человека я унизил обжорством, могу ли я себе это простить?!

В такие минуты раскаянья хандра сокрушала его, но долго не могла удержаться. Из хандры самой черной он вдруг впадал в самый чистый, в самый светлый экстаз, а проходило час или два, глядь, Иван Петрович плавно перетекал из экстаза в хандру. То слезы исступления лились из его честных, искренних глаз, то вспыхивала патетическая сцена с непрямым

поднятием правой руки, то сыпались один за другим язвительные сарказмы, то находила волна тихого мистицизма и легко уносила Ивана Петровича куда-то вдаль от земли.

Поэт, усердный читатель пламенных творений вдохновенного Шиллера, неисправимый поклонник мудрого Гете, которого неукоснительно величал Олимпийцем, он в стихах изливал свои переменчивые, но всегда болезненные чувства, страдальческие, скорбные, как-то странно переплетенные с идеей раскаяния и примирения. В его стихах была гармония, была красота. Они трогали искренностью и неподдельным теплом отзывчивой, несомненно, доброй души.

Немудрено, что он преподавал историю необычно, не усиливаясь вывести из каждого отдельного факта непреложный общий закон. Главное в его преподавании было красноречие, поэтический блеск. Он говаривал: «Историю я знаю по-своему», и точно, он как будто переселялся в минувшие времена. Он не имел серьезных познаний, чтобы подойти к событиям прошлого философски, зато знал прелестно всех знаменитых, малоизвестных и совсем забытых деятелей всемирной истории, жизнь каждого из них он принимал близко к сердцу, точно это были его приятели по студенческому кружку, он рассказывал о них так, точно когда-то давно жил вместе с ними, он восхищался, негодовал, позволял себе шутки или язвительно издевался над ними. Твердых знаний из его пылких импровизаций выносилось немного, зато он заставлял полюбить свой предмет, а чего больше можно требовать от простого учителя?

Варвара Петровна зорко следила, чтобы занятия шли по строгому расписанию: латынь, российская словесность, история, грамматика, французский язык, один предмет за другим, и все по часам. Отдохнуть позволялось только по воскресеньям. Правда, и в воскресенье с утра она проявляла заботу о нравственном воспитании: дети были обязаны посещать приходскую церковь. Сама она была мало религиозна, не видела проку в молитвах, попов не допускала дальше порога, в церкви была редкий гость, а Николеньку с Ванечкой обыкновенно отправляла в сопровождении дядьки. Большого проку в таком воспитании быть не могло. Братья более наслаждались бесценной свободой воскресного утра, чем прислушивались к тому, что читалось и пелось, а по дороге домой напропалую болтали о чем ни попало, смеялись и затевали приличные случаю игры.

Однажды, а по какому случаю неизвестно, им пришло в голову разыграть двух французов. Один француз таки пожил в России и кое-что успел в ней смутно узнать, второй только что прибыл на заработки, мечтал поскорее напиться всем русским, чтобы непременно жениться

на богатой княжне, это у всех французов в России незыблемая мечта, и потому выпрашивал о русских обычаях. Первый ему отвечал, разумеется, по-французски, объяснял, между прочим, что нынешний день Благовещенье. Второй твердил, опять по-французски, и пожимал плечами, отчасти с презрением и не в силах понять: «Что это такое Благовещенье? Благовещенье?» Дядька почтительно шествовал сзади, прислушивался, разбирал кое-какие слова и отрывки отдельных французских фраз, а дома доложил Варваре Петровне, что барчата, вишь, над обедней смеялись. У Варвары Петровны обычай был заведен раз навсегда: что бы ей ни доложили прислужники, она истины не допытывалась, следствия не вела, а тут же отдавала распоряжение, и на этот раз без объяснений и рассуждений распоряжение было одно: Николеньку с Ванечкой высекли, не подозревая о том, какой из этого выходит урок благочестия.

Нечего говорить, что и воскресные дни велись Варварой Петровной по расписанию, правда, тут все-таки допускалось кое-какое разнообразие. Например, было необходимо хотя бы раз в месяц посещать бабушку Бибикову, которую полагалось любить, потому что важная старуха могла чуть ли не все, в особенности могла устроить будущее сыновей Варвары Петровны, и которую полюбить отчего-то не удавалось, так что посещение бабушки Бибиковой обращалось в род наказания.

Хорошо было хоть то, что к бабушке Бибиковой посылали не всякое воскресенье. Зато всякое воскресенье полагалась прогулка, конечно, в карете, на Воробьевы горы, это уж непременно, только после настойчивых просьб позволялось пройтись немного пешком, не ранее того, как миновалась застава. Также каждое воскресенье полагалось посещать уроки танцев в доме Гагариных, куда нарочно приглашалась подрастающая молодежь из родни и знакомых семейств. Танцевали обыкновенно кадрили французские, старую и новую, галопад, мазурку и экосез. Танцы, естественно, тоже обращались в род наказания. Милый Ванечка был неуклюж, на ровном месте умел поскользнуться и грохнуться — в грязь ли во время прогулки, посреди ли зала в галопаде или мазурке. Рука Варвары Петровны, тяжелая, властная, слишком на него налегала. Постоянно ожидая от нее наказания, он рос застенчивым, мнительным, при малейшей ошибке, неловком движении он становился натянутым, неестественным, готовым провалиться сквозь землю, внутренняя тревога то и дело охватывала его, он принимался до последней нитки себя разбирать, сравнивал себя, что еще хуже, с другими, припоминал взгляды, улыбки, слова, которые относились или как будто относились к нему, трактовал все в обидную сторону, впадал вдруг в уныние, становился до того неуверен в себе, что прямо-таки горел от стыда.

Он бывал счастлив только тогда, когда в томительном дне, расписанном, точно в казарме, выпадал час или два свободного времени, когда никто за ним не следил, никто не принуждал танцевать экосез, ездить к бабушке Бибиковой или зубрить французские наклонения. Тогда он читал, читал с упоением, разумеется, все в романтическом духе. Он наслаждался томной, чувствительной музой Жуковского, многие ранние стихи Пушкина знал наизусть, однако, соглашаясь с Дубенским, не жаловал его реалистические творения. Когда же ему попался «Изменник» Марлинского, он испытал настоящее потрясение. Он весь дрожал и никак не мог дочитать до конца. Стоило ему увидеть что-нибудь вроде «с содроганием открыл глаза, затекшие кровью», как книжка журнала выпадала из трепещущих рук, он весь цепенел, едва переводил дух и не сразу бывал в состоянии продолжать. В своем экстазе он доходил до того, что имя Марлинского целовал на обложке.

Ему хотелось выбраться из расписаний, охраняемых розгой, а выбраться было нельзя, это он уже понимал. Он задыхался в этой нравственной духоте и ради спасения, неприметно для себя самого, мысленно переселялся в иные чувства, в иные миры, куда его манило все, что было необычным и героическим. Его воображение рисовало причудливые картины. Скоро он научился превращать в сказку даже обыкновенные детские игры. У него с братьями однажды завелись острова. Эти острова они добросовестно поделили между собой, после чего каждый остров превратился в независимую державу. На своем острове он объявил себя королем. Николенька, старший брат, стал великим герцогом на другом. Острова воевали между собой. Любовь к истории, возбужденная Иваном Петровичем Ключниковым, неожиданно привела его к мысли вести хронику войн. Он исписал тетрадь и прочитывал ее братьям, учреждавшим по этому случаю перемирие. Это была его первая проба пера. Еще ничего не зная о литературном труде, он отнесся к ней как опытный литератор. То одно, то другое место, преображенное неустанным бегом воображения, он передавал братьям как-то иначе, с новой подробностью, иной раз с новым поворотом сюжета. Братья были его первые критики, привередливые, придирчивые, несправедливые, точно служили в толстых журналах. По всей вероятности, воображение у них оказывалось слабее, они меньше читали, меньше знали, чем он. Прежде слышанное, затверженное, знакомое им было милей новизны. Каждый раз они с неудовольствием обрывали его:

— Нет, нет, это не так!

А он нечаянно, непреднамеренно учился писать. Он уже испытывал сладкий яд вдохновения, когда не знаешь, не ищешь, откуда берутся мысли, слова, точно все это с неба свалилось. Не

по возрасту большеголовый, с умными глазами, милый Ванечка сделался летописцем по внутреннему влечению, которому не повиноваться не мог, братья же повиновались его превосходству, и если все-таки бунтовали, когда его фантазия залетала слишком далеко от их прозаических представлений, их бунт не колебал его превосходства. Они чувствовали, скорее всего, что он слишком серьезен, слишком умен по сравнению с ними, слишком много читал, и читал уже взрослые книги.

Глава девятая

ПРИВЯЗАННОСТЬ

Он поневоле отдалялся от них. Его уму оказывалось мало детских забав. Двенадцати лет он читал ежемесячные журналы. Его интересовали даже рецензии, помещенные в них. Он замечал, обнаруживая внезапно остроту и трезвость ума, не всегда доступные взрослым, что наши критики постоянно противоречат друг другу. Он старательно выписывал мнение «Московского телеграфа» о Дмитриеве: «Принужденно, вяло, сухо», а вскоре о том же Дмитриеве находил суждение в «Телескопе»: «Чисто, сильно, без принуждения». Если «Московский телеграф» о Ротчеве сообщал: «Виден талант большой», то в «Телескопе» непременно стояло: «Очень худо». Он вопрошал себя в изумлении, кому в таком случае верить. Он приходил в отчаянье, маялся, ломал себе голову и, в конце концов, не верил ни тому, ни другому.

В его душе начиналось тихое, внутреннее брожение, смысла которого он не понимал, да и самое брожение лишь смутно угадывал, вдруг иногда обнаруживая что-то странное, непонятное в себе или рядом с собой. Может быть, самым странным и непонятным в ту пору был для него писатель Загоскин. Приятель отца и сосед, он бывал в доме на Самотеке почти ежедневно. Обыкновенно гость и хозяин спорили мирно, негромко, их натуры были слишком различны. Сергей Николаевич был поклонник Европы, еще по воспоминаниям славной европейской кампании, и отлично хорошо говорил по-французски, спокойно, отчетливо, с неподвижным лицом, и только в легком прищуре выразительных глаз угадывалась усмешка, снисходительная, однако незлая. Михаил Николаевич порывисто двигался телом, лицом, говорил на каком-то странном наречии, которое принимал за французский язык, но скоро, видимо, уставал от него и переходил на русскую речь:

— Поверь, мой милый, все это завирательные идеи, чушь, по-нашему говоря. Русский человек прекрасно обойдется без немцев. Что русскому человеку здорово, то немцу смерть,

многие опыты дают эту истину. Черт с ним, с этим европеизмом. Вот ведь кричат: «Лафит! Лафит!» А наше-то крымское лучше.

И с видимым наслаждением влажными губами прихлебывал из стакана венгерское, которое Сергей Николаевич предпочитал всем остальным.

Милый Ванечка глядел, глядел и не верил глазам. «Юрий Милославский» представлялся ему чудом совершенства. При одном этом названии он испытывал сладкий трепет восторга и был готов преклониться перед тем человеком, который создал его, а преклониться не мог, даже испытывал что-то, похожее на равнодушие. И немудрено, слишком велик был контраст между созданием и создателем:

«В Загоскине не проявлялось ничего величественного, ничего фатального, ничего такого, что действует на юное воображение; говоря правду, он был даже довольно комичен, а редкое его добродушие не могло быть надлежащим образом оценено мною; это качество не имеет значения в глазах легкомысленной молодежи. Самая фигура Загоскина, его странная, словно сплюснутая голова, четырехугольное лицо, выпученные глаза под вечными очками, близорукий и тупой взгляд, необычайные движения бровей, губ, носа, когда он удивлялся или даже просто говорил, внезапные восклицания, взмахи рук, глубокая впадина, разделявшая надвое его короткий подбородок, — все в нем мне казалось чудаковатым, неуклюжим, забавным. К тому же за ним водились три, тоже довольно комические, слабости: он воображал себя необыкновенным силачом; он был уверен, что никакая женщина не в состоянии устоять перед ним; и, наконец (и это в таком рьяном патриоте было особенно удивительно), он питал несчастную слабость к французскому языку, который коверкал без милости, беспрестанно смешивая числа и роды, так что даже получил в нашем доме прозвище Мсье артикль. Со всем тем нельзя было не любить Михаила Николаевича за его золотое сердце, за ту безыскусственную откровенность нрава, которая поражает в его сочинениях».

Никто не занимался всерьез его умственным воспитанием. Благодаря этому обстоятельству он приучался мыслить самостоятельно. Еще не отдавая себе в этом отчета, он воспитывал в себе внутреннюю свободу, важнее которой для души человека ничего не бывает на свете. Ни в чем не хотел он признать никакого стеснения, прежде всего стеснения мысли и чувств. Его настольной книгой очень скоро стали «Разбойники» Шиллера. Это увлечение оказалось так велико, что о необходимости и пользе свободы он однажды осмелился заговорить с неприступным отцом.

Сергей Николаевич задумался на миг и спросил:

— А знаешь ли ты, что может дать человеку свободу?

Неожиданно для себя он на вопрос ответил вопросом:

— Что?

Сергей Николаевич без запинки, твердо сказал:

— Воля, собственная воля, и власть она дает, которая лучше свободы. Умей хотеть — и будешь свободным, и командовать будешь.

Однако милый Ванечка еще ничего не знал о роли воли в человеческой жизни, а власти он не хотел ни над собой, ни над людьми. От людей он ждал понимания. Рядом с романтическими «глазами, затекшими кровью», рядом с «углублением в глубочайшую премудрость» на уроках Щуровского, рядом с Шиллером и пробуждавшимся воображением в его душе трепетала и ежилась тоска по ласке, по обыкновенной любви, которой с раннего детства он был отчего-то лишен. Довольно было бы крупницы внимания, чтобы его воображение наградило любого, кто заметил бы его хоть между делом, случайно, всеми достоинствами, всеми добродетелями героя. Вот и скажите теперь, мог ли он думать, с его серьезным умом, что он лучше всех? Ни в коем случае он так думать не мог. В нем разрасталось губительное сознание, что он никому не нужен именно потому, что он ничтожество, что он хуже всех.

Воля отцу в самом деле скоро понадобилась, да вовсе не для того, чтобы отстаивать свободу или командовать над людьми, впору было сладить с собой, со своим собственным взбунтовавшимся телом. Сергей Николаевич заболел, заболел, как оказалось, очень серьезно. Ужасные боли ломили его, валили с ног, и действительно ему понадобилась недюжинная воля, чтобы не кричать криком, не капризничать, не измываться над ближними, как свойственно многим тяжело заболевшим, изнеженным, избалованным людям.

Самые лучшие московские доктора открыли у него «каменную болезнь», то есть камни, не то в почках, не то в мочевом пузыре, при которой иные средневековые пытки святой инквизиции могут показаться детской забавой. Предлог был найден отличный. Они поторопились, как свойственно докторам-шарлатанам, сбить с рук тяжелого больного подальше, порекомендовали отправиться на воды в Эмс и дальше в Париж, к тамошним светилам для заключительного консилиума. Они же подобрали и спутника — Андрея Евстафьевича Берса,

сына аптекаря, двадцати двух лет, выпускника медицинского факультета, весельчака и красавца. Себе в услужение Сергей Николаевич выбрал Михаила Лобанова, Берсу дал дворового человека Илью, и в апреле 1830 года все четверо выехали первым пароходом на Штеттин и далее дилижансом на Франкфурт и Эмс.

Отчасти болезнь подействовала на него благотворно. В его закрытой, застегнутой на все пуговицы душе вдруг затеплилось отцовское чувство. Уже перед тем, как занять свое место в карете, он призвал к себе сыновей, дал поцеловать, по обыкновению, руку и вдруг обратился к ним не то с просьбой, не то с повелением: непременно писать к нему письма, желательно род дневника, на всякий день занятия и происшествия. Без весточки с родины, признался он, насмешливый противник Загоскина, на чужбине будет ему одиноко. Впрочем, и тут отцовское чувство выглянуло как-то неладно, в одну только сторону, поскольку Сергей Николаевич обращался к одному старшему Николаю, а на милого Ванечку только бегло взглянул и потрепал по щеке.

В мае Варвара Петровна поднялась домой в Спасское. В Спасском ошеломила ее страшная весть: во Франции революция! До французской революции ей было дела немного, в прочности своей власти и власти самодержавной, на которой, как она выразилась, Россия стояла, стоит и стоять будет, у нее сомнения не заводилось даже во сне. Она в волнение пришла оттого, что государь, имея в виду именно прочность самодержавной власти в России, повелел всем российским подданным без промедления покинуть преступную Францию, чтобы якобинская зараза, не дай Бог, к ним не пристала. Таким образом, для Сергея Николаевича путь из Эмса в Париж был закрыт, однако она была совершенно уверена в том, что ее муж почтет здоровье свое выше государева повеления и не только не воротится тотчас домой, а непременно заедет в этот якобинский Париж, после чего возвращение непременно обернется Сибирью, государь Николай Павлович с послушниками не любит шутить, и правильно делает, прибавляла, поджав губы, она.

Все-таки мысль о Сибири ужасно ее волновала. Может быть, она представляла себе, что ее одинокая, полузадушенная любовь наконец найдет отклик в его черствой, неверной душе, и она не шутя собиралась за ним следом в Сибирь.

Мысль эта, впрочем, держалась недолго. На юге России открылась холера и пошла своей смрадной волной на Тамбов и Москву. Варваре Петровне стало не до Сибири. Она отгородилась от мира заставами и думала только о том, как бы уберечь от заразы детей, ее

материнское чувство тоже вдруг получило сильный толчок и вышло наружу, сдержанно, с суровыми взглядами, с прежними наказаниями, но все-таки вышло.

Сыновья раз в неделю, как было приказано, исправно отправляли короткие, сухие послания, сначала во Франкфурт, потом в Эмс и в пресловутый Париж. На чужбине Сергей Николаевич, точно, страдал, да и каменная болезнь не оставляла его. Он прочитывал письма внимательно и со своей стороны писал длиннейшие письма, тоже не реже раза в неделю. Он вдруг осознал свой долг воспитателя, поставил себе в обязанность контролировать и наставлять и в каждом письме выговаривал, однако неизменно обращаясь к одному Николаю, что заставляло милого Ванечку молчаливо страдать:

«Ты несумненно знаешь, сколь занимает меня твое учение, а потому в своих журналах за первое поставишь писать мне об оном, — то есть не просто «много учителя довольны, стараюсь помнить твои приказания», но напиши мне на каждый предмет особо, например, — в фран: немецко: языках, занимаешься тем то: в латинском, в русском то то. Если что переводите; — в географии то же, в истории и русском языке мы «там то» читаем; наконец, в математике мы то-то проходим, и так по очереди все предметы, какие тебе преподают — не забудь и музыку. Да вспомнил я об вашем классе чистописания — неужели ты по сие время учишься чисто писать; в твои лета оным уже некогда заниматься. Да и я помню, что Иван Иванович хотел оным вас занять только на некоторое время — а настоящий оный класс должен бы быть до рисования и чертежей. То напиши мне подробно, что в оном успели...»

Там только Сергей Николаевич уразумел, что его сыновья дурно пишут по-русски и много лучше изъясняются на французском и немецком, чужих языках. Чем сильнее становилась болезнь, тем решительней осознавал себя патриотом и наставлял, и требовал, и стыдил сыновей:

«Вы все мне пишете по-французски и по-немецки — а за что пренебрегаете наш природный — если вы в оном очень слабы, — это меня очень удивляет. Пора! Пора! Уметь хорошо не только на словах, но на письме объясняться по руски — это необходимо. И для того вы можете писать ваши журналы следующим образом — Понедель. По францу: Вторник по немецки: — Середа по руски, и так далее в очередь...»

Он возвысился до того, что шевелил их, кое-когда задавая вопросы, на которые требовал непременных ответов:

«Прошу вас более писать по руски, а то я живо здесь совсем забуду рускую грамоту. Товарищ мой тоже по руски со мною мало говорит, хотя часто спорит о правилах языка, но мне мало верит, а потому положились на ваш суд, так как вы правила грамматики должны лучше моего знать. — Например, он уверяет, что надо говорить «я был в обедни, я пошел в обедню». Пожалуста, Ваня, напиши мне об этом, а если сам не знаешь, то спроси у своего руского учителя. А тебе, Колянька, препоручаю спросить у Дубле, как надобно сказать «я играл на дворе», то есть j' ai joues a la cour или sur la cour, не найдется ли иное значение сих слов; вперед все наши здесь недоумения буду спрашивать вашего решения, вы верно уже безошибочно знаете, как должно правильно сказать — а мне приятно будет, что вы вместо лексикона, которого со мною нету, будете мне служить. — Да вот забыл еще, Ваня, спроси у руского учителя, правильно ли сказано, «а вечером мы ехали верхом», говорю о прошедшем времени, мне кажется, что должно бы сказать «мы ехали верхами»...»

В сущности, Сергей Николаевич мог быть неплохим воспитателем и бывал им, когда вспоминал свои родительские обязанности, да вспоминал он их до крайности редко, а когда вспоминал, бывал жестоко несправедлив: Коляньку он мысленно определял по своим стопам в военную службу, как пристало быть дворянину, и потому шевелил большей частью его, тогда как поприще Вани для него было темно, по этой причине и сам Ваня был ему пока безразличен, и если он изредка адресовался к нему, то скорей это было не веление сердца, а вежливость.

Холодность отца была оскорбительна, чуть не убийственна, и милый Ванечка жестоко страдал. Он укрывался в старом саду, бродил неприкаянно по тенистым аллеям, забирался в самую глушь, где можно было плакать или мечтать, подолгу лежал на траве, глядя в бездонное непостижимое небо. Он с запретной клумбы Варвары Петровны срывал зеленый бутон еще не созревшей, не раскрывшейся розы, сдирал с него первую оболочку, под ней открывалась другая, третья, четвертая, и так без конца, все белее и мягче, скатанные теснее. Он упрямо доискивался последнего, сокрытого под ними зерна, и досадовал, и задумывался, видя, что последние оболочки так нежны и тонки, что их невозможно раскрыть. Он чувствовал несказанную прелесть природы, улавливал в ней точно веяние Бога, она манила его, соблазняла своими загадками и как будто упрекала его, слепого, бедного, одинокого, исполненного тщетных сомнений, сомнений не только в ней, спокойной и равнодушной, но и в людях, которые никогда не оставались спокойны, но равнодушны были всегда.

Один дядя Николай Николаевич пленял его, когда появлялся в Спасском после верховой прогулки или охоты, огромный, с простодушным мягким лицом, в охотничьей куртке, мятой фуражке, в смазных сапогах, в поту и в пыли или в пышном белом галстуке, в шелковой муаровой жилетке песочного цвета и в черной муаровой ермолке на голове. Весь дом менялся при его появлении. Он никогда не бывал строг с крестьянами и дворовыми, напротив, он бывал их верный защитник, когда на них обрушивался капризный гнев Варвары Петровны.

Он был всего двумя годами моложе старшего брата Сергея, определился юнкером в кавалергардский полк семнадцати лет, это случилось в несчастном и славном 1812 году, когда нам угрожал Бонапарт. Юнцом, не нюхавшим пороха, он отличился в Бородинском бою и был награжден знаком отличия военного ордена, спустя год имел чин поручика. В 1814 году ему дали отвести в Париж эскадрон рекрут на молодых лошадях, и он не только привел весь эскадрон в целостности и сохранности, без больных и отставших, но еще, исключительно из добросовестности и своего удовольствия, выездил лошадей и обучил кавалергардов правильной выезде. В Париже в кружке молодежи бродил по бульварам, сводил знакомства с союзниками, уже готовыми нам изменить, и сумел-таки поразить англичан, которых, казалось, нельзя ничем поразить, до того они восхищены сами собой. С англичанами он сошелся в зале гимнастики. Англичане щеголяли своей силой перед немцами, особенно перед русскими, которых презирали только что не в глаза. В стену зала была ввинчена стальная пружина. Ее вытягивали и свою силу узнавали по градусам, обозначенным на особой шкале. Англичане тянули лучше других. Тогда потянул Николай Николаевич и, обладая силой громадной, чуть не медвежьей, вырвал пружину прочь из стены. Пораженные англичане подхватили его на руки и с триумфом вынесли из зала. Этим подвигом он, казалось, гордился не меньше, чем подвигами на поле сражения.

Впрочем, как все очень сильные люди, он войны не любил и по независимости характера двадцати одного года отроду вышел в отставку с чином штаб-ротмистра. Столицы он презирал за обилие всякого рода начальников, городов вообще не любил за шум, суету и безделье и поселился в своей деревеньке Чернского уезда, в которой находился небольшой барский домик с продавленной крышей, мужского пола душ сорок да душ восемьдесят женского всех возрастов. Последнее обстоятельство особенно его привлекало. Подобно старшему брату, Николай Николаевич был большой охотник до женщин, однако, в отличие от него, светских дам не любил, считая их недотрогами, и вовсю наслаждался необременительной простотой деревенской любви. Кроме того, он понемногу занимался хозяйством, привел свой домик в порядок, завел отличнейших лошадей и таких же отличных

собак. Он читать не любил, даже газет не читал, о которых отзывался с презрением за их безответственность и наглую ложь, зимой коротал время почти в полном бездействии, а с весны, с первым посвистом вальдшнепов по верху еще голых ветвей, и до осени весь отдавался ружейной охоте, вот и все его были дела. Необходимо также прибавить, что дядя Николай Николаевич не получил никакого образования, даже домашнего, на письме делал ошибки чудовищные, даже в сравнении с другими дворянами, которые тоже в русской грамоте были не слишком сильны, как это видно из писем Сергея Николаевича, адресованным детям. В его спокойной, ничем не возмущаемой голове редко заводились две мысли сряду, он твердо держался устоев, полученных от отцов, и нисколько не сомневался, что право владеть крепостными людьми получено им прямо от Бога.

Милый Ванечка поначалу дичился его, но очень скоро их связала та странная, ласковая и добрая дружба, какая нередко заводится между старым и малым. Заброшенный, неприкаянный отрок страстно влюбился в этого богатыря и невежду, едва ощутив внимание дяди к себе, вызванное, может быть, только тем, что Николай Николаевич не любил Варвары Петровны и должен же был с кем-нибудь говорить, когда заглядывал в Спасское. Отставной же штаб-ротмистр и домосед, вероятней всего, полюбил племянника с нежностью холостяка и одинокого человека, наконец нашедшего благодарного слушателя. О чем они могли беседовать между собой? Да, в сущности, ни о чем. Дядя любил порассказать о бородинских атаках, о европейском походе и о Париже, который его, хулителя городов, так поразил, что он нередко в мыслях возвращался туда, и эти рассказы прочно ложились милому Ванечке в душу. Все-таки больше всего он восхищал племянника мужеством, физической силой, какой не было у него самого, небрежно-изящной выездкой старого кавалериста. Николай Николаевич походя, между делом, обучил его верховой езде, изредка брал его для компании на охоту и посвящал в таинства и тонкости охотничьего искусства, не в силах устоять перед замороженным, пожирающим взглядом ребенка. Что еще нужно подростку, который жаждет любви? Он встречал дядю, как никого еще не встречал. В лице дяди он почитал свой кумир. Дядя служил образцом подражания. Дядя превратился в поверенного его невинных ребяческих тайн. Он жить не мог без него. Он со слезами, с болью в сердце покидал Спасское, не умерев на месте, может быть, лишь потому, что дядя взял с него слово писать ему письма и дал свое честное слово непременно ему отвечать.

На улицах Москвы, малолюдных, притихших, еще дымили костры: считалось, что огонь и дым отгоняют заразу. Варвара Петровна была беспокойна. Ее горничные ходили заплаканные, испуганные, бледные. Дворецкий часто выходил из ее кабинета с застывшим лицом, точно

последним усилием удерживал бешенство гнева. Милый Ванечка не замечал ничего. С первого дня разлуки он то с подавленным, то с громко бьющимся сердцем ждал писем от дяди, написанных почерком корявым, но милым. Он сам изливал в письмах к нему свои чувства, внезапно нашедшие возможность излиться:

*«Я думал долго, как начать, наконец решился: я тебя невыразимо люблю, люблю до бесконечности, одним словом, нельзя и описать на бумаге то, что я чувствую. Шаркнет ли кто в передней, я лечу туда: не почтальон; вот уже неделя, как нет мне совершенных радостей — я не получаю ни слова, ни приветов, ничего. Ах, дядя, ты это не чувствуешь: каждый раз получаешь письма и не отвечаешь. Напиши мне хоть в мамашинем письме два слова — и я весел. Я тебя прошу не в первый раз: всякий раз ты исполнял, исполни и эту просьбу. Когда я знаю о твоём здоровье, тогда веселее учусь, веселее играю, слаще сплю. Дядя, дядя, никогда я тебя не просил так усильно, нынче в первый раз. Ах, как бы я желал, чтоб с начала было б хорошо!.. В сию минуту я прочел твое письмо прошлого года, а мне казалось, что я читаю нынешнее письмо... Мне было так легко, так весело!.. целую тысячу раз тебя и остаюсь тебя обожающий племянник
Иван Тургенев».*

Заброшенность, одиночество, непонимание близких поневоле взвинтили его рано пробужденные чувства. В ответ он требовал такой же силы и взвинченности от старого кавалериста, который, естественно, сохранял и не мог не сохранять хладнокровие. Милый Ванечка уж и угадывал с не свойственной его возрасту пронизательностью, что дядя как ни любит его, а все не способен любить так же бесконечно и страстно, как он сам его полюбил. В самом деле, его первая любовь оставалась без жаркого отклика. В душе дяди, эгоистической, черствой, не шевелилось и тени возвышенных чувств. Племянник, как милостыни, молил у него приветного слова, а вместо сердечного, участливого ответа Николай Николаевич на его письме корявым почерком начертал:

«Жаль, что дурно пишит. Я с трудом разбираю и трушу отца. Он будит недоволен».

Глава десятая

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦА

Разочарование не успело его поразить единственно потому, что из Парижа воротился отец. Сергей Николаевич поздоровел. Его лицо посвежело. Только взгляд был новый, усталый,

повернутый внутрь, точно он постоянно прислушивался, все ли там тихо, не ноет ли, не скрипит ли, не ударит ли вновь безумная боль.

Он вышел к обеду коротко стриженный, в длиннополом гороховом сюртуке, как прежде красивый и стройный, с холодным, точно застывшим лицом. О Париже, о котором спросила Варвара Петровна, сказал всего несколько слов, о болезни, о которой она спросила после Парижа, отозвался небрежно, точно хотел забыть все, что связано с ней:

— Тамошний лекарь, видя мои мучения, долго колебался приступить к действию окончательному, не имея никакой надежды в надлежащих последствиях, что на консилиуме подтвердили все тамошние хирурги, решительно положив оставаться мне с камнем. Я со своей стороны почел умереть от воспаления раны, чем замучиться от камня, и настоятельно потребовал операции. Операция была сделана счастливо. Благодаря Бога, все ее следствия, несмотря на противные предсказания, были благополучны. Я с должным терпением пролежал неподвижно в постели дней сорок и встал совершенно здоров, каким и пребываю до сего дня.

Однако можно было заметить, что он как-то жметя, осматривается, опасается себе повредить. Он ел очень мало, любимое венгерское только пригубил и отставил не без сожаления в сторону, ничего жареного, вызвав повара, приказал для него не готовить, все подаваться ему должно отварным: и мясо, и рыба, и овощи, так парижский лекарь строго велел.

Варвара Петровна, опустив долу глаза, с чуть приметной запинкой наконец решилась спросить о новых знакомствах, какие могли случиться, а может быть, и случились в Париже. Сергей Николаевич поглядел на нее долго и пристально, так что она покраснела и скрутила салфетку жгутом, и ответил неторопливо, что его положение было не таково, чтобы пускаться в знакомства. Впрочем, прибавил, что бывал у него часто Александр Иванович, тоже Тургенев, родня, из самой дальней, должно быть, поскольку, как ни старались, счесться родством не смогли.

— Да вот он скоро должен здесь быть, по тому делу, двадцать пятого года, хлопчет за брата, так я его к тебе приведу. Говорил, что родился в Симбирске, воспитывался в благородном пансионе при здешнем университете, в Москве, в немецких землях закончил образование, кажется, в Геттингене, служил директором департамента иностранных исповеданий, состоял членом комиссии по составлению российских законов, пожалован в камергеры, да после той

истории вышел в отставку. Нынче путешествует по Европе, чрезвычайно образованный человек, интересный тебе собеседник.

И привел интересного собеседника спустя месяца полтора. Громкий бархатистый голос весь дом услышал еще из сеней. В гостиную вступил человек с лишком сорока лет, полный, кудрявый, веселый, раскланялся, заговорил и уже говорил беспрестанно, так что никому не удавалось вставить хоть слово. Доложил с первого раза, что был при дворе, который нынче в Москве. Там к нему имел наглость подойти поздороваться граф Петр Толстой, член Государственного совета, «под смертным приговором моего брата его подпись стоит, представьте себе», Александр Иванович ему не подал руки, отвечал сухо, отрывисто, почти не глядел на него, «я никогда не подам руки тому, кто подписал смертный приговор моему брату». Заговорил о коротких знакомых, у которых успел побывать. Имена Вяземского, Чаадаева, поэта Дмитриева, братьев Киреевских, Авдотьи Елагиной пролились скорым летним дождем. Умолк он только тогда, когда подали чай, выпил стаканов пять или шесть, с невиданной быстротой проглотил все, что любезно придвигала поближе к нему высокомерно надувшая губы матушка Варвара Петровна: бисквиты, печенье, сухарики, пирожки. Обтер влажные губы ладонью. Вздохнул. Пересел на диван и тут же уснул, склонив голову на бок, приоткрыв рот с дурными зубами, изредка всхрапывая во сне.

Впечатление получилось неизгладимое. Матушка Варвара Петровна близким к истерике голосом попросила батюшку Сергея Николаевича по-французски этого господина более никогда в дом не водить. Батюшка Сергей Николаевич ответил по-русски, что он волен водить в свой дом кого ни заблагорассудится, а вот чтобы в доме ноги больше не было ни дуры Яковлевой, ни дуры Гагариной. Варвара Петровна скривила тонкие губы в злой ядовитой усмешке. Он топнул ногой, что с ним приключалось до крайности редко, и приказал изгнать всех богомолок, которые во множестве попечением матушки Варвары Петровны теснились по углам и каморкам. Впрочем, Александра Ивановича Тургенева, точно, больше не приводил. Отныне его постоянные гости были Алексей Александрович Наумов и Константин Павлович Нарышкин, с которым он познакомился также в Париже.

Он вывез из Парижа несколько европейских привычек, которые более относились к его туалету, однако воротился из признанной столицы Европы законченным патриотом, как сплошь и рядом приключается с русскими европейцами, которым доводится год или два пожить где-нибудь в Германии или во Франции. Отныне дома он говорил только по-русски и с неожиданным вниманием отнесся к воспитанию сыновей, вдруг обнаружив, что его первенцу,

Николаю, стукнуло пятнадцать лет, а второму, милому Ванечке, пошел тринадцатый год. Надо было обеспечить их будущее, о котором, кажется, он подумал впервые. В его уме решилось как-то само собой, в соответствии с семейной традицией, что первенец Николай должен стать офицером и пойти непременно по артиллерии. Будущность милого Ванечки пока что оставалась неясной. Сергей Николаевич все свои педагогические усилия направил на старшего, оставаясь к милому Ванечке равнодушным, как прежде, однако и его для комплекта привлекал к своим воспитательным процедурам. Он их пристально оглядел и тотчас нашел, что одевают их скверно и то до сей поры никому в голову не пришло заняться их физической подготовкой, столь необходимой как для службы военной, так и для укрепления здоровья, необходимость которого он на себе ощутил.

Тотчас к учителям, нанятым матушкой Варварой Петровной, прибавился молодой и крепкий швейцарец, у себя на родине до тонкостей изучивший гимнастику, единственный предмет, который он принимал за науку. С того дня Николеньку и милого Ванечку поднимали чуть свет, обливали холодной водой и заставляли не менее получаса бегать на веревке вокруг столба, вкопанного по указанию батюшки Сергея Николаевича посередине двора. Правда, на этом столбе заботы о здоровье и физическом воспитании благополучно закончились, но и этого было слишком довольно. От внезапных пробуждений и обливаний холодной водой нервы милого Ванечки, и без того тонкие, вечно дрожащие от каждого и самого слабого впечатления, окончательно развинтились. Он схватил горячку, едва ли не воспаление в легких. Над ними недели две возился молодой Берс, после Парижа поступивший на должность домашнего доктора. Милый Ванечка все-таки выздоровел и после болезни переносил обливания со стоицизмом обреченного на эту бесчеловечную муку.

Найдя удовлетворительными первые успехи физической подготовки, батюшка Сергей Николаевич приказал одеть сыновей у лучших московских портных, как пристойно молодым людям, которым настала пора бывать в большом свете. Совершив это новшество, он понемногу начал их вывозить и знакомить со своими бывшими сослуживцами, которые не забыли его, и представлять важным московским тузам. Все это производилось им с одной целью: все должны запомнить Николая и Ивана Тургеневых, все должны знать, чьи они сыновья и кому какая родня. Глядишь, в будущем пригодится, у нас без связей карьеры не сделаешь, таков уж закон, а следование законам общества, в котором живешь, есть не только необходимость, но и обязанность человека порядочного. Засим он пространно изъяснялся о том, что у нас, в России, никто не исполняет законов и что это необходимо переменить.

Должно быть, не замечая противоречия, батюшка Сергей Николаевич чаще других бывал в доме Пашкова Сергея Ивановича, отставного гвардии ротмистра, лет тридцати, самого незаконного человека в целой Москве. Громадный дом Пашкова во все время дня, а также нередко и ночи, был настежь открыт, уж истинно, для званых и незваных. Вечерние приемы устраивались чуть ли не ежедневно. На них можно было приезжать и уезжать в любой час, даже не поздоровавшись и не представившись хозяйке или хозяину дома. Надежда Сергеевна, урожденная Долгорукая, супруга Сергея Ивановича, обходительная и ласковая, из сил выбивалась, чтобы в ее гостиной собирались и старые почтенные люди, и молодежь. С этой целью она зазывала к себе самых красивых московских дам и брала их под свое покровительство. Красавицы служили приманкой. Мужчины слетались со всей Москвы в дом Пашковых как мухи на мед, что доводило до бешенства матушку Варвару Петровну, ревность которой, слепая и жгучая, не оставляла ее. В доме Пашковых с любым и каждым можно было составить партию в вист. Батюшка Сергей Николаевич много и крупно играл, не в один, разумеется, вист, что матушке Варваре Петровне служило второй причиной для бешенства, поскольку время от времени он требовал денег, чтобы покрыть карточный долг, а именно деньги она никому давать не умела. Здесь, между сдачами, батюшка Сергей Николаевич умел вставить слово о своем Николае, который молодец молодцом и скоро станет служить. Он никогда не унижался до просьб покровительства сыну, однако и его замечаний, мягких и частых, было довольно, если бы Николеньке понадобилась поддержка в полку.

Непременным гостем в доме Пашковых был отставной ротмистр Свинын Петр Иванович, тоже лет тридцати, один из убежденных московских холостяков, невзрачный, циничный, любитель хорошо покушать и довольно удачливый, как говорили, охотник до женского пола, очень неглупый, забавный, порой беспощадный остряк. Между тем, он всегда был готов прийти на помощь друзьям, сразу после отставки стал задавать обеды и балы у себя на Покровке, однако заскучал обязанностями хозяина дома и с тех пор переходил из гостиной в гостиную, и уж если к кому приезжал, так непременно высиживал до конца, пока последний гость не откланивался. Объясняя любопытным эту свою поразительную привычку, он говорил с ехидной улыбкой, что сиденьем своим обеспечил себе репутацию человека порядочного, ибо у нас предметом злословия становится тот, кто уехал, тогда как о нем никто не имеет приятной возможности худое слово сказать.

Если не находилось желанья или денег провести вечер за картами в доме Пашкова, батюшка Сергей Николаевич отправлялся в театр, двери которого для него были открыты всегда. Причина этой вольности была очень простой. Его приятель и частый гость Михаил

Николаевич Загоскин был теперь автор не только «Юрия Милославского», но и «Аскольдовой могилы, повести из времен Владимира I». В Петербурге роман и повесть понравились, весьма и весьма, очень значительным лицам. Этим значительным лицам пришло в голову произвести столь блистательного и плодовитого автора в коллежские советники. Этого показалось мало значительным лицам. Он был определен в должность директора московских театров и пожалован в звание действительного камергера двора его императорского величества, после Карамзина второй случай признания литературных заслуг. Понятно, что батюшка Сергей Николаевич сделался завсегдаем кресел и, много чаще, почетным гостем кулис, как понятно и то, что при одном звуке этого слова с матушкой Варварой Петровной случалась истерика.

Репертуар московских театров отличался разнообразием. Водевиль сменялся комедиями. Между комедиями вставлялась серьезная драма. После каких-нибудь «Пустодомов» вдруг возвышались «Разбойники» Шиллера. Премьеры следовали одна за другой. На подмостках блистали Щепкин, Мочалов и пленительная, сентиментальная, но холодная, со слабым голосом Львова-Синецкая. Одна часть публики восхищалась отточенным, всегда верным исполнением Щепкина. Другие предпочитали Мочалова, который играл нервно, неровно, десять спектаклей к ряду ронял свою роль, зато блистательно давал ее на одиннадцатый, так что среди его почитателей завелась даже мода ставить на пари, иной раз и крупные суммы, сколько раз Мочалов провалит спектакль и когда наконец выведет его во всей красоте своего действительно мощного дарования.

Другая мода была посещать репетиции, когда репетиции вел Шаховской. Его репетиции тоже были своего рода спектаклем, в котором главную роль играл сам Шаховской. Нередко улыбки перелетали с лица на лицо при виде его чудодействий, а посторонним посетителям, холодным к театру, он представлялся выходцем из сумасшедшего дома, зато большую часть своих зрителей он приводил в восхищение.

Князь Александр Александрович и на середине шестого десятка весь был проникнут такой жаркой любовью к искусству, точно все еще был молодой человек. Казалось, он не слышал ни жара, ни холода, не видел толпы театралов, проникнувших в пустой затемненный зал на него поглазеть, ничего не помнил, кроме нынешней пьесы да актеров на сцене. В сущности, он был смешон со своим громадным животом, длинным носом, голым черепом, жидкими косицами остатков волос на висках и затылке, визгливым голосом и картавым произношением, однако

над ним не смеялись. Любопытные москвичи приходили насладиться необыкновенным его темпераментом.

Поначалу он бывал спокоен, чуть ли не равнодушен, разбирал пьесу, бросал дельные замечания то одному, то другому из исполнителей, не попадающим в тон, беззлобно шутил. Замечания и шутки мало помогали актерам, невнимательным и ленивым. Они плохо знали и путали роли, вяло двигались, свои реплики подавали без всякого выражения. Шаховской все это терпел, но его терпения не хватало надолго. Он выскакивал из своих кресел, подбегал к актерам, к актрисам, ласково поглаживал по плечу, заглядывал в глаза, просил, подсказывал, умолял. Его усилия чаще всего пропадали втуне, точно он служил для глухих. Он принимался язвить:

— Василий Петрович, кажется, ты устал, верно, позавтракал и хочешь соснуть, ведь ты не слышал, что тебе Федор Антоныч сказал, ведь он тебя обидеть хотел, а ты и не рассердишься на него. А ты, Дусенька, как не стыдно тебе, как не грешно, ведь тебе совсем не жаль человека, а он так любит, так любит тебя, ты совсем забыла об нем, ведь ты будто сказываешь урок своей мадаме!

Он взвизгивал, картавил, терял гласные. Все, на сцене и в зале, переставали его понимать. Непонимание сердило его. Он впадал в бешенство, падал перед актерами на колени, рвал на себе остатки волос, умолял и проклинал, передразнивал, врывался в толпу хористов, обзывал их сапожниками, блинниками, сам показывал, как надо петь. Тут уж никто удержаться не мог, и сцена и зал обрывались таким неистовым хохотом, что он вдруг останавливался, озирался, оглядывался невидящими глазами, громко вскрикивал, в отчаянии обхватывал толстыми ручками лысую голову и убегал, семеня ножками, которые так и мелькали из-под громадного рыхлого живота.

Казалось, батюшка Сергей Николаевич был влюблен в Шаховского. Часто после репетиции или после спектакля он подходил к нему, ласково разговаривал с ним, говорил комплименты так верно, так неподдельно, как умел он один, предлагал подвезти. Князь любил комплименты до страсти, внимание, неважно с чьей стороны, его доводило до слез. Он соглашался, влезал в карету, пыхтя и трясясь, и в карете продолжал лепетать о театре, о пьесах, о бенефисах и расхваливал до небес тех актеров, которых только что остервенело бранил.

Он жил, будучи родственником, в доме Бакуниных, и к середине зимы батюшка Сергей Николаевич стал бывать у Бакуниных не только в приемные дни, но почти каждый вечер

запросто, на правах дальней родни, которой на Москве дорожили чуть ли не столько же, сколько и ближней. Ни Бакуниных, ни его самого не смущало, что родство считалось по матушке Варваре Петровне, которая кем-то приходилась Варваре Ивановне Бакуниной, Голенищевой-Кутузовой по отцу. Впрочем, в Москве не смущались и более туманным родством, родством в Москве решалось чуть ли не все. Кстати сказать, Варвару Ивановну все и в своем доме, и в знакомых домах именовали писательницей. Она действительно составила описание не чего-нибудь, а персидского похода, имевшего места, кажется, в 1796 году, именно потому, что в этом никому не известном походе принимал участие ее муж.

Михаил Михайлович Бакунин, этот муж, участник похода, в молодые годы действительно был определен родителем своим в военную службу, служил довольно счастливо и дослужился до генеральского чина, занимал место генерал-губернатора в Петербурге, после чего помещен высочайшим указом в сенаторы, а два года спустя, как нередко приключается с нашими управляющими тузами, был отдан под суд. Обвинили его, как тоже обыкновенно случается, в том, что он не совсем верно или вовсе неверно израсходовал какие-то суммы, причем, немалые, из приказа общественного призрения, который был ему подчинен, то есть, говоря проще, в воровстве у беспомощных старичков и старушек. Правда, дело было неясное, родство у Михаила Михайловича, напротив, было большое и все довольно влиятельное, нужные пружины, надо думать, были нажаты, разбирательство тянулось целые годы и наконец прекратилось, единственно по указу императора Николая. Тем не менее Михаила Михайловича попросили в отставку. Неприятный процесс почти до основания его разорил. Подобно всем пострадавшим от произвола властей, по известному нашему выражению, отставной сенатор и генерал переселился в Москву и зажил в собственном доме, открытом для всех.

Иначе было нельзя. Михаил Михайлович и Варвара Ивановна имели троих дочерей, по-своему замечательных. Особенной личностью между ними была, без сомнения, старшая, Авдотья Михайловна. Она страстно любила поэзию, пробовала свои силы в живописи и довольно удачно исполнила автопортрет, с тех пор висевший на видном месте в гостиной. Она слыла непримиримой поклонницей героев Сенатской площади и не прощала своему дальнему родственнику, тоже Бакунину, Михаилу Модестовичу, что он первым открыл огонь по бунтовщикам. Недаром, выходит, ее заметил Адам Мицкевич, польский поэт, поневоле служивший одно время в Москве. Она увидела в сосланном вольнодумце героя, пострадавшего за дело свободы, и полюбила его всем своим молодым чистым искренним сердцем. Он тоже ее полюбил и, говорили, сделал ей предложение. Она не захотела предать

свою православную веру, он предпочел оставаться правоверным католиком. Свадьба не состоялась. Некоторое время они переписывались. Потом их отношения естественным образом прекратились. Связку его писем она хранила как драгоценность и никому не позволяла в них заглянуть. Ей делали предложения — она неизменно их отклоняла.

Вторая дочь, Катерина Михайловна, не выделялась ничем в толпе своих сверстниц, говорила живо, но несколько в нос, любила поэзию, но любила как все и как все читала романы, а все-таки чувствовалось в ней что-то особенное, незаурядное, тайная готовность совершить подвиг, если представится случай, впрочем, такого случая сама она не искала.

Третья, Пашетта, Прасковья Михайловна, была некрасива, много читала, любила подолгу рассуждать о поэзии, сама писала довольно посредственные стихи и любила, когда шутки ради принимались ее уверять, что лучших стихов еще не было в мире.

Батюшка Сергей Николаевич делал вид, что бывает в доме Бакуниных исключительно из любви к театру, из уважения к Шаховскому, из дружбы к Загоскину, который с некоторых пор тоже проводил в этом доме почти все вечера. Ему верили, потому что это, при его умении обходиться с людьми, весьма и весьма походило на правду. Его часто видели за одним карточным столом с Шаховским и Загоскиным, и он уверял со своей легкой улыбкой, что лучшего зрелища не бывает и на театре. В самом деле, директор всех московских театров и главный постановщик спектаклей так горячились, бранились из-за каждого хода, ссорились так, что их примирения невозможно было представить, а глядь, спустя час они снова были приятели.

Глава одиннадцатая

НЕСЧАСТЬЕ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

И в этот дом батюшка Сергей Николаевич ввел своих сыновей. Собственно, ввел он одного старшего, Николая, представлял его и Михаилу Михайловичу, и другим старикам, большей частью отставным министрам, сенаторам и генералам, громко хвалил его успехи в гимнастике, как он именовал обливание холодной водой и беганье вокруг столба по утрам. Милого же Ванечку брал он с собой единственно из соображения, что и для него настала пора получать воспитание светского человека. Этим соображением все и оканчивалось, и милый Ванечка оставался в большом незнакомом доме совершенно один.

Он потерянно бродил из комнаты в комнату или никем не замеченный оставался в обществе бакунинской молодежи, многолюдном и шумном. Вокруг Катишь и Пашетты всегда вился рой студентов, архивных юношей и молодых офицеров еще в первых чинах. «Собор Парижской Богородицы» был тогда у всех на руках и в умах. Девушки с томными лицами бредили идеальной, непременно неразделенной любовью и мечтали встретить тот идеал, которому желали пожертвовать всем, именно всем, при этом магическом слове взгляд девушки делался неопределенным и глаза возносились к небу. Молодые люди выбивались из сил, изображая героев, ожидающих жертвы с их стороны. Студенты носили длинные волосы, архивные юноши с загадочным видом глупо молчали, офицеры с каким-то остервенением крутили редкие кусты на верхней губе, которые изображали усы. Скука между ними царил ужасная, и милый Ванечка с потерянным видом сидел в уголке, задавая себе один единственный мрачный и безответный вопрос, неужели эта непроходимая скука и есть то высшее общество, которое должно докончить еще не начатое его воспитание.

Все в один день изменилось, когда среди них стала бывать Катерина Львовна, племянница Шаховского. Ей было лет восемнадцать. Красотой она не блистала, но отныне все замечали только ее. Глаза ее беспрестанно блистали, озаренные мыслью, яркой и свежей, ее лицо беспрестанно менялось, отражая на себе ее бушевавшие чувства, во всем ее молодом существе сквозили сила и жизнь. Она тоже бредила гением, героем, каким-то неземным существом, но у нее одной это было всерьез, так открыто, так ожесточенно она презирала посредственность и одним взглядом, нехорошим, презрительным, отталкивала от себя холодные души. Она не признавала ходячей морали и делала только то, что хотела. В ней доставало силы характера, чтобы пренебрегать самым суровым осуждением старших и не страшиться самой гнусной их клеветы, а младших она точно не замечала и звонко, заливиисто хохотала над ними. Она тоже искала, кому бы пожертвовать всем своим будущим, даже жизнью своей, не находила, металась, забавляла себя пустяками и считала, что ее не понимает никто.

Она постоянно придумывала себе развлечения, предлагала играть в фанты, рассказывать сны. Однажды она вдруг спросила, знает ли кто-нибудь, отчего у Александра Александровича, ее дяди, на лбу коричневое пятно. Все изумились: в самом деле, пятно. Предположения посыпались одно смешнее другого. Все хохотали. Одна княжна спокойно молчала, точно втайне наслаждалась глупостью этих предположений, наконец подняла руку, и говор стих сам собой. Всех желающих разгадать эту загадку она пригласила следовать за собой. Она

потребовала, чтобы все ступали на цыпочки, приложила палец к губам и повела к дядину кабинету.

Дверь кабинета не была плотно прикрыта. Она легким движением чуть-чуть приотворила ее и одним глазом заглянула в узкую щель, удовлетворенно кивнула и знаком руки разрешила по очереди тоже заглянуть в кабинет. Милый Ванечка, как всегда, оказался последним. Он тоже взглянул, когда молодежь, тихо смеясь, уже уходила. Кабинет был освещен только светом лампы. Шаховской, до того толстый, что не мог согнуться и встать на колени перед иконой, ничком лежал на голом полу, шептал молитву, быстро и страстно, мелко крестил себе лоб и бился им с тихим стуком об пол.

В другой раз, когда Алексей Беер, студент, в их кружке известный пожиратель сердец, преследовавший ее своим пошловатым ухаживанием, что-то шептал ей на ушко с маслянистой улыбкой некрасивого рта, она оттолкнула его, гордо вскинула голову и сказала:

— Все это ложь! Поэзия тем и хороша, что она говорит нам то, чего на свете не бывает, но не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду!

И с отчетливо презрительным выражением на лице отошла от него, а скоро стало известно, что и она сочиняет стихи и что некоторые из них появились в «Молве», которую вел профессор Надеждин, тогдашний кумир московских студентов, а еще некоторое время спустя явилась отдельной книжкой ее поэма «Сновидение» с много о ней говорившим подзаголовком «Фантасмагория».

Новинка произвела впечатление в доме Бакуниных, где все члены семейства были поэтессами и романистками. Катишь, сузив глаза, всех входивших встречала вопросом:

— Вам нравится «Фантасмагория» Шаховской?

Алексей Беер, желая хоть этим завоевать сердце автора, с важным видом ответил:

— Она хороша.

Катишь улыбнулась той улыбкой, которая говорила, что она-то понимает, отчего Алексей расхваливает столь незначительное, по ее мнению, сочинение неопытного пера, и спровоцировала его:

— А стихотворения Тепловой тоже вам нравятся?

— Они прекрасны, без малейших претензий. Разумеется, это не истинное могущество мужского стиха. Ее стихи быть не могут могучи, поразить душу не могут, до самой глубины ее возмутить. Тем не менее, в ее стихах выражается истинное чувство.

— Так вы находите претензию у Шаховской? Вы полагаете, что истинного чувства в ее стихах нет?

Алексей наконец догадался, что его заманивают в ловушку, и отошел, резко сказав:

— Я этого не говорил.

Катишь остановиться уже не могла и с тем же вопросом подошла к совсем юному офицеру, который, кажется, ни стихов, ни прозы никогда не читал и в ответ только высоко поднимал редкие бровки и тряс головой.

Нападки Катишь пронзили милого Ванечку болью, тягучей и сильной. Он был возмущен. Он себе места не находил. Он едва дождался, когда батюшка Сергей Николаевич соберется домой, ночь не мог спать, ворочался и так громко вздыхал, что Николай, просыпавшийся от его томительных вздохов, несколько раз его обругал, днем во время прогулки сделал так, чтобы на Кузнецком мосту зайти в книжную лавку, и на свои карманные деньги приобрел две тоненькие книжечки Тепловой и Шаховской, вызвав насмешки со стороны Николая, который стихов не любил.

Для него началась какая-то другая, напряженная, счастливая, тревожная и угрюмая жизнь. Он не разговаривал ни с кем, на вопросы не отвечал, точно не слышал, да и, точно, не слышал, чужие слова сами собой проходили мимо сознания, не задевая его. Шаховскую он читал с трепетом, с восхищением, с изумлением, веря с трудом, что это она, она могла так написать. Он «Фантасмагорию» перечитал множество раз и к концу дня уже знал ее наизусть. Для сравнения он то и дело обращался к Тепловой. По первому разу ее стихи показались ему недурны, хоть и не шли ни в какое сравнение с творением Катерины, как он осмеливался коротко ее про себя называть, но чем дольше он их перечитывал, тем становилось для него очевидней, что плохи из рук вон и даже не могут называться стихами.

Все смешалось у него в голове. Несколько дней он бродил как потерянный и дошел до того, что и «Фантасмагория» в иные минуты начинала ему представляться довольно пустой, даже ничтожной. Потолковать о поэзии ему было не с кем. Он бросился на журналы. И что же? В «Московском телеграфе» ее стихи похвалил сам Полевой и, Боже мой, как похвалил:

«Не знаю, где возьмут смелости многие русские поэты печатать свои стихотворения, пробежав эту фантазмагорию? Они должны будут признаться: как выше их искусственных, натянутых песен эти неподдельные звуки сердца, то мечтательного, то веселого, то грустного, то увлеченного в область фантазии!..»

Его сердце громко стучало после каждого слова, оно готово было выскочить из груди, когда в «Молве» он отыскал:

«Сновидение» княжны Екатерины Шаховской есть род фантастической поэмы, в коей сочинительница выводит тени отживших русских поэтов и заставляет слышать их беседы. Оно одушевлено чувством искреннего патриотизма. Юная свежесть воображения выкупает некоторые неровности, свойственные первому, довольно обширному опыту...»

Он уже не отходил от княжны. Он не сводил с нее глаз, он ее каждое слово жадно ловил, и каждое слово глубоко западало в его открытую душу и оставляло в ней неизгладимый, болезненный, незаживающий след. Во время урока, за чтением, на прогулке она вдруг возникала перед его мысленным взором, живая, подвижная, с каким-нибудь острым, незабываемым словом, и он весь обмирал и уже ничего не видел, не слышал вокруг. Он бродил как потерянный, и вот что потом поражало его: какими-то другими глазами, какими-то другими ушами он видел и слышал, и замечал, что в доме творилось что-то неладное, творилось, видимо, с середины зимы и все тревожней с началом весны.

Матушка Варвара Петровна занемогла и не выходила из своего кабинета. Она целыми днями лежала там на широкой кушетке, располневшая, бледная, беспокойная, с то раздраженным, то печальным взглядом часто в пространство уставленных глаз. От нее не выходил доктор Андрей Евстафьевич Берс, усердно лечивший ее.

Однажды милый Ванечка бродил в обычном теперь опрокинутом состоянии, безответно, бессмысленно погруженный в себя. Дверь кабинета была неплотно прикрыта. Вдруг он нечаянно, словно бы мимоходом заметил узкую щель, точно такую, какая была, когда они шуточки ради заглядывали в кабинет Шаховского. Влекомый какой-то чужой, неведомой силой он подкрался на цыпочках и осторожно, пугливо заглянул в эту щель.

Матушка Варвара Петровна была в кабинете одна. В длинной белой ночной рубашке, в чепце, странно толстая в талии, она стояла на коленях, жалостным взглядом, какого он у нее никогда не видал, впивалась в лик Божьей Матери и страстно, быстро, негромко шептала:

— Пресвятая Дева! Отврати от того, кого ношу во чреве моем, гнев человека, которого я оскорбила! Меня, меня одну порази! Ты знаешь, сколько я слез пролила, скольким пожертвовала, сколько покаяний на себя наложила сама. Ты видела все. Но увы! Молитвы даже самой чистой души не всегда доходят до Господа. Дева Пресвятая! К Тебе, к Тебе одной осмеливаюсь вознести мои молитвы. До того, как Ты была призвана в небесную обитель, Ты жила на земле, Ты знаешь нашу жизнь и горести наши, Твое сердце истерзано кровавыми ранами, Ты одна перестрадала муки, уготованные на земле для всех женщин. Услышь меня, Мария!..

Он отошел, также на цыпочках. Он ничего не понимал. Он чувствовал только, что его мать, всегда суровая, всегда непреклонная, тяжело страдает, но отчего, от кого? Он ответить не мог.

Его мысли поневоле снова воротились к княжне. В последнее время она стала как будто печальна или это только показалось ему? Он с нетерпением ждал, когда они поедут в театр, а из театра проедут к Бакуниным.

Едва пройдя пустые сени и полутемный таинственный зал, он слушал с бьющимся сердцем, где, в каком конце, в какой комнате зазвучит ее повелительный голос, повелительный шаг.

Ни шага, ни голоса не было слышно. Он стал искать ее, заглядывая повсюду, и нашел ее в боковой маленькой комнатке, в которой во время балов разгоряченные танцами дамы оправляли свой туалет. Она сидела совершенно одна, опустив голову, точно была виновата или устала. Ее обычно подвижные, быстрые руки лежали на коленях бессильно, безжизненно, и по этим рукам он вдруг угадал, что она жестоко страдала. Он остановился на пороге и замер. Верно, он так громко дышал, что она встрепенулась, гордо вскинула голову и пронзила его таким суровым, таким ненавидящим взглядом, что он отшатнулся. Его движение ее успокоило. Она пришла в себя, дружески кивнула ему, движением руки поманила к себе, долго смотрела ему в лицо как-то особенно, жалобно и внезапно произнесла:

Я тайну чувства разгадала,

Непостижимость поняла.

Он потупился перед ней, не думая ни о чем, потрясенный ее внезапным вниманием. Она медленно поднялась, отстранила его от себя и вышла неровным, точно спотыкавшимся шагом.

Долго ломал он голову над этой историей и ничего придумать не мог. Он стал следить за ней неотступно. Она была прежней, веселилась, злословила, вышучивала Алексея Беера, ненужного своего чичисбея, придумывала новые игры, но вдруг на мгновение задумывалась, точно уходила куда-то, не то в непостижимые дали, не то в вещие сны наяву, и снова смеялась как ни в чем не бывало.

На шум молодежи иногда появлялся батюшка Сергей Николаевич. Он молчал по своему обыкновению, разве изредка ронял шутивное слово и удалялся, и все взгляды обращались к нему, и Ванечка не мог не читать в этих взглядах восхищение его мужской красотой, его юношески стройным и гибким станом и всей той неуловимой повадкой, которая выдавала в нем любимца и любителя женщин. Одна княжна опускала глаза, резко обрывала игру и уходила к себе.

Лето между тем наступало. В последних числах мая или в первых числах июня матушке Варваре Петровне стало так худо, что опасались за самую жизнь. Андрей Евстафьевич сделался бледен, его руки тряслись, он повторял, впрочем, ни к кому именно не обращаясь, что это ничего, что все обойдется, что это дело привычное, даже бывалое. Батюшка Сергей Николаевич хмурился, кусал губы, рано забирал сыновей, возил их по знакомым домам и привозил только ночью. Горничные о чем-то шептались. Вся дворня точно была сама не своя.

Наконец в ходе болезни наступил перелом. Матушка Варвара Петровна пошла на поправку. Все-таки, разумеется, вздыхала она, о Спасском нынешним летом нечего было и думать. В ее спальне состоялось что-то похожее на военный совет. Было выработано удовлетворительное решение: снять дачу где-нибудь под Москвой. Дачу сняли в Нескучном и перевезли ее туда с большими предосторожностями. Она была еще очень слаба, но заявила уже твердо, как до болезни, что милому Ванечке пора готовить себя к университетским экзаменам и что она станет за ним наблюдать. Николая она точно не замечала, он тоже должен был готовиться к экзаменам в артиллерийское училище и осенью ехать для этого в Петербург. Считалось, что батюшка Сергей Николаевич наблюдает за ним.

Но все это только считалось. Матушка Варвара Петровна по-прежнему не выходила из спальни, батюшка Сергей Николаевич целыми днями отсутствовал, изредка появлялся к обеду, говорил несколько ласковых слов Николаю и уезжал, порой на всю ночь, и в передней говорили между собой, что он крупно играет в известных домах. Вместо подготовки к экзаменам брат Николай, у которого был дар к языкам, переводил с английского романы молодой писательницы Анны Радклиф. В романах совершались страшные преступления,

кровавые драмы, действия происходили в таинственных подземельях, в подземельях висели ржавые цепи, являлись призраки, от повествования так и веяло чертовщиной. Брат Николай хвалил эти романы и, казалось, был вполне счастлив своими занятиями.

Ванечка тосковал без княжны и себе места не находил. Он тоже пробовал читать Анну Радклиф. Ее романы ему тоже нравились, но не удовлетворяли его. Не зная сам почему, он стал перечитывать «Разбойников» Шиллера. Порыв к свободе его захватил, но только на несколько дней. Он бросил книги и целыми днями бродил по большому заросшему саду да с какой-то неведомой злостью стрелял ворон из охотничьего ружья.

Вдруг в спальне матушки Варвары появился ребенок. Это была девочка, дней десять или недели две отроду. Ее звали Варварой. Фамилия ее была Богданович. О ней говорили, что она из бедной семьи, что матушка Варвара Петровна из сострадания взяла младенца к себе и станет воспитывать как свою приемную дочь, что даже необходимо ей по совету врача, чтобы ее здоровье восстановилось в заботах о крошечном беспомощном живом существе. Странно было то, что никто в доме в появлении девочки не видел ничего странного. Еще странней было то, что в эти же дни в соседней даче, небольшом деревянном заброшенном домике, появилась княжна со своей матерью и прислугой. Тотчас домик наполнился молодежью, теми же студентами, офицерами и архивными юношами, которые вокруг нее толпились в доме Бакуниных. Тотчас возобновились те же игры, те же споры, те же розыгрыши, те же стихи. Тотчас Ванечка был между ними и уже снова ничего не видел вокруг. Дома его отсутствия не замечали, об университетском экзамене никто не напоминал, учебники на его столе как были, так и оставались все лето закрытыми.

Он дошел до какого-то помраченья ума. Он жил точно во сне. Ему все казалось, что он еще и не жил до того, как встретил ее. Для него его жизнь только теперь начиналась, когда казался священным след ее ног на земле, когда счастьем было каждое слово, с которым она обращалась к нему, когда в блаженство превращалось даже мученье. Он все твердил сам себе, что теперь вся его жизнь была впереди, потому что в мечтах эта жизнь рисовалась рядом с ней, вместе с ней и ради нее. Стоило только, уловив удобный момент, рассказать ей о себе, о своем одиночестве, раскрыть ей страдания души и богатства ума, поделиться первым, несмелым, но сильным, неизвестно откуда взявшимся желанием славы, поведать о том горячем, неведомом чувстве, которое терзало его. Боже мой, только она, она одна могла бы все это понять.

Он принужден был молчать. Он заметил, что она изменилась. Ее как будто терзала какая-то мука, сродни той, какая терзала его самого. Он стал следить за каждым шагом ее и следил неотступно, с каким-то необыкновенным вниманием, ревнивым и злобным и странным, точно он решительно все запомнить хотел, чтобы потом кому-нибудь пересказать, зачем, для чего, он не думал, да и времени не оставалось подумать. Княжна становилась как будто рассеянной, потеряла интерес ко всему, что так буднично, так прозаически тянулось мимо нее, она какой-то иной жизнью жила, таинственной, скрытой от всех, которая была и наслаждение и мука ее, глаза ее нередко застилались туманом, на ее щеках, потускневших, увядших, ему чудились следы продолжительных слез.

Жестокая мысль его обожгла: она полюбила другого! За ней следом притащилась вторая, неотступная, нестерпимая, мысль о сопернике...

(Далее следует читать его повесть «Первая любовь»).

Об авторе:

Валерий Николаевич Есенков родился в 1935 году в Ярославле. Окончил историко-филологический факультет Ярославского педагогического института. Многие годы работал учителем, впоследствии занялся литературным трудом. Автор книг о классиках литературы: Ф.И. Тютчеве, Н.В. Гоголе, Ф.М. Достоевском и др., исторических повествований о Ярославе Мудром, Иване Грозном, Кромвеле и др. Живет в Ярославле.